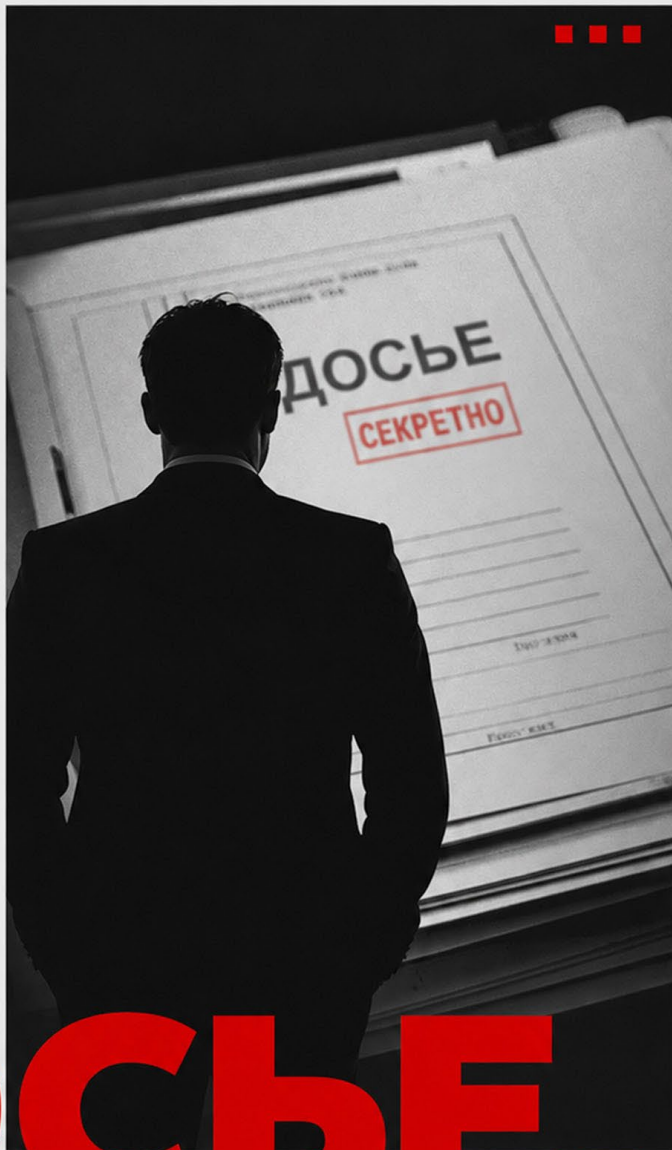




ДОСЬЕ.

ИЛЛЮЗИЯ ВСЕМОГУЩЕСТВА

■■■ КНИГА 1

ЭНДРЮ ХАРРИС

Досье.

Иллюзия всемогущества

Эндрю Харрис

Настоящее произведение является художественным. Все персонажи, события, организации и описанные обстоятельства либо полностью вымышлены, либо представлены в авторской художественной интерпретации. Любые совпадения с реальными людьми — живыми или умершими, а также с существующими или существовавшими организациями, компаниями и событиями являются случайными и не имеют намеренного характера.

Оглавление

Пролог

Глава 1. Слепое пятно

Глава 2. Архитектура прошлого

Глава 3. Химия контроля

Глава 4. География пустоты

Глава 5. Генезис мотива

Глава 6. Механика интервью

Глава 7. Поведенческие маркеры

Глава 8. Архитектура влияния

Глава 9. Эхо-камера

Глава 10. Невидимый диалог

Глава 11. Финальный синтез

Глава 12. Подготовка к передаче

Глава 13. Передача

Пролог

Папка весила ровно тысячу двести граммов. Я взвесил её вчера ради праздного, почти механического интереса. Тысяча двести граммов бумаги, распечаток, транскриптов, медицинских выписок и фотографий. В физическом смысле — это ничтожно мало. В структурном — это чертеж катастрофы, развернутой во времени.

Я сидел за столом, глядя на матово-черную обложку без единой надписи. За окном медленно угасал серый ноябрьский день, растворяясь в холодных сумерках. На экране монитора, поставленном на беззвучный режим, шла трансляция очередного публичного выступления человека, чья публичная деятельность стала объектом моего исследования. Александр Леонидович Дворкин стоял за кафедрой. Уверенная осанка, снисходительная полуулыбка, академичная жестикуляция. Зал слушал его с тем специфическим, почти осязаемым благоговением, которое общество всегда резервирует для тех, кто берет на себя смелость говорить от лица абсолютной морали.

Я смотрел на экран, затем переводил взгляд на черную папку. Дифракция восприятия. То, что видит зал, и то, что лежит на моем столе, существовало в параллельных, непересекающихся реальностях.

Моя левая рука дрогнула. Сначала это была едва заметная вибрация в кончиках пальцев, затем спазм поднялся выше, к запястью. Я положил ладонь на холодную поверхность стола и с силой прижал её, пережидая приступ. Неврологический дефицит нарастал с каждой неделей. Врач говорил о демиелинизации, о сроках, о необходимости покоя. Слова звучали как белый шум. Покой — это роскошь, которую я больше не мог себе позволить. Мое тело превращалось в песочные часы, где вместо песка осыпались нейронные связи.

Я открыл первую страницу досье. Никаких красных чернил, никаких восклицательных знаков. Только строгий, выверенный шрифт. Я с самого начала запретил себе эмоции. Эмоции — это погрешность оптики. Гнев, отвращение или страх искажают фокус, заставляя исследователя видеть то, что он хочет видеть, а не то, что есть на самом деле. Моим инструментом стал холодный скальпель структурного анализа.

Общество привыкло искать монстров в темных переулках. Нас приучили к мысли, что зло — это нечто маргинальное, хаотичное, брызжущее слюной и не способное к социальной адаптации. Мы ждем оскала. Но истинная, глубинная аномалия редко носит лохмотья. Она надевает костюм, интегрируется в социальные институты и начинает диктовать норму.

Мое исследование началось почти случайно. Несоответствие в датах, легкий диссонанс в интонации во время старого интервью. Мелкая трещина на идеальном фасаде. Большинство прошло бы мимо, но моя профессия — замечать трещины. Я начал тянуть за нить. Месяцы работы в архивах, анализ сотен часов видеозаписей, изучение лингвистических конструкций, микровыражений, пауз. Я искал не преступления. Я искал каркас повторяющийся публичный поведенческий каркас.

И я нашел его.

Передо мной лежал портрет человека, чья психическая архитектура была выстроена вокруг одной зияющей пустоты, которую необходимо было заполнять тотальным контролем над окружающими. Иллюзия всемогущества. Это не метафора и не поэтическое преувеличение. Это строгий клинический конструкт. Потребность доминировать, перехватывать инициативу, обесценивать оппонента и выстраивать реальность, в которой он является единственным арбитром истины.

Я перевернул страницу. Транскрипт интервью 1979 года. Пометки на полях, сделанные моим почерком. Стрелки, соединяющие паттерны поведения в молодости с публичными реакциями тридцать лет спустя. Ригидность. Неспособность к эмпатии, замаскированная под принципиальность.

Проблема заключалась не в том, чтобы доказать это. Доказательств было достаточно — они все здесь, систематизированные и перекрестно проверенные. Проблема заключалась в том, как это передать.

Если я просто опубликую это досье, оно разобьется о глухую стену общественного восприятия. Люди не хотят знать, что их моральный компас может быть намагничен чужой уверенностью. Они назовут это клеветой, заказом, бредом сумасшедшего. Истина, которая не укладывается в привычный шаблон, воспринимается как агрессия.

Спазм в руке наконец отпустил, оставив после себя тупую, ноющую боль. Я потянулся к стакану с водой. Вода была теплой и отдавала металлом.

Я понял главное: мне не нужно убеждать толпу. Толпа слепа по определению. Мне нужно найти правильную оптику и передать её тому, кто уже начал всматриваться в темноту. Тому, чьи глаза уже привыкают к отсутствию света.

В последние недели, прочесывая профильные форумы и базы данных в поисках старых публикаций, я начал замечать следы. Кто-то другой шел по моему маршруту. Кто-то запрашивал те же архивные справки из больницы №67. Кто-то задавал очень точные, пугающе холодные вопросы в комментариях к статьям о сектоведении. Этот неизвестный еще не видел всей картины, он только нащупывал контуры, но его метод был мне знаком. Это был метод человека, который умеет отделять фасад от несущих конструкций.

Я закрыл папку. Трансляция на мониторе закончилась, сменившись рекламным блоком.

Моя задача — не сорвать маску на площади. Моя задача — оставить чертежи лабиринта тому, кто сможет пройти его до конца. Досье готово. Осталось лишь завершить последние комментарии, объясняющие не что я нашел, а как я это увидел.

Я придвинул к себе клавиатуру. Пальцы легли на клавиши. Время еще есть. Немного, но есть.

Глава 1. Слепое пятно

В офтальмологии существует базовое, физиологически обусловленное понятие — слепое пятно, или физиологическая скотома. Это специфическая область на сетчатке глаза, где полностью отсутствуют светочувствительные рецепторы. Парадокс человеческого зрения заключается в том, что мы никогда не замечаем этой пустоты в повседневной жизни. Наш мозг, этот гениальный и неутомимый интерполятор,

непрерывно достраивает недостающий фрагмент картинки, используя информацию от соседних участков и второго глаза. Мы видим целостный мир там, где на самом деле зияет физиологическая дыра. Мы верим иллюзии, потому что она комфортна и непрерывна.

Социальная психология функционирует по похожему, хотя и куда более сложному образу. Общество формирует свои собственные, коллективные слепые пятна, когда сталкивается с фигурами, наделенными непререкаемым авторитетом. Статус, академические степени, интеграция в государственные или религиозные институты, публичная риторика о морали и защите традиционных ценностей — все это выступает в роли тех самых «соседних участков», на основе которых коллективный разум достраивает безупречный образ. Если человек стоит за кафедрой, если он издает книги, если его цитируют чиновники и иерархи, общество автоматически отказывается сканировать его на предмет глубинных, структурных противоречий. Возникает социальная скотома. Критическое восприятие отключается.

Именно в этой зоне абсолютной невидимости, в самом центре ослепительного света общественного одобрения, объект моего исследования выстроил свою архитектуру контроля.

Александр Леонидович Дворкин. Для большинства — уважаемый профессор, сектовед, бескомпромиссный борец за духовную безопасность. Человек, чье слово способно разрушать репутации оппонентов и инициировать масштабные государственные проверки. Его воспринимают как рационального, морального деятеля, чья жесткость продиктована исключительно заботой о благе общества. Он не вызывает прямых подозрений, потому что его агрессия всегда социально санкционирована и направлена на тех, кого общество уже согласилось считать маргиналами или угрозой.

Но моя профессия — смотреть туда, куда другие смотреть отказываются. Моя задача — отключать социальную интерполяцию и фиксировать саму пустоту.

Исходя из фактов, изложенных в книге Джеймса Ресслера «Маньяк против Бога», криминалистика и поведенческий анализ десятилетиями шли по следу серийных хищников, сосредотачивая свое внимание на тех, кто не смог адаптироваться. Мы искали монстров в темных переулках, среди социальных низов, среди тех, чей интеллект

или уровень самоконтроля не позволил им скрыть свои девиации. Мы изучали тех, кто оставлял физические улики и кровь. Но мы катастрофически долго игнорировали фигуры иного масштаба. Тех, кто обладал достаточным интеллектом, чтобы понять: высшая форма хищничества — это не нарушение закона, а его формирование. Высшая форма контроля — это не физическое насилие в подвале, а создание системы, в которой насилие становится институциональной нормой, а сам хищник назначается главным арбитром.

Я отвел взгляд от экрана монитора, где была открыта очередная хвалебная статья об объекте, и посмотрел на свои руки. Пальцы правой руки, лежавшие на мыши, слегка онемели. Это не было привычной усталостью от долгой работы за клавиатурой. Онемение поднималось выше, к запястью, оставляя после себя ощущение холодного, покалывающего вакуума. Я попытался сжать ладонь в кулак. Сигнал от мозга дошел с микроскопической, но уже ощутимой задержкой. Фаланги согнулись неуверенно, словно преодолевая сопротивление невидимой плотной среды.

Болезнь не стояла на месте. Она не давала мне передышек и не вступала в переговоры. Демиелинизация нервных волокон — процесс методичный и безжалостный. Моя собственная иммунная система медленно, но верно уничтожала изоляцию нейронных путей, превращая четкие электрические импульсы в рассеянный статический шум. Врач на последнем приеме был предельно откровенен, оперируя статистикой и кривыми выживаемости. Время моей активной, ясной работы стремительно сокращалось. Каждый день был отвоеванной территорией.

Я достал из верхнего ящика стола бумажную салфетку и аккуратно промокнул внезапно выступившую каплю крови из левой ноздри. Капилляры становились хрупкими на фоне агрессивной медикаментозной терапии. Я скомкал салфетку, бросил ее в мусорную корзину и снова повернулся к монитору. У меня нет времени на жалость к себе. У меня есть только данные, которые необходимо структурировать.

Я закрыл вкладку с современной статьей. Публичный образ Дворкина сегодняшнего дня — это монолит, отполированный десятилетиями безнаказанности и власти. Изучать его сейчас — значит изучать фасад. Чтобы понять, как устроена несущая конструкция этой личности, необходимо было спуститься в архив. Туда, где бетон еще не

застыл, где маска еще не приросла к лицу намертво, а механизмы контроля только проходили свою первую, сырую обкатку.

Я открыл папку с оцифрованными видеоматериалами. Файл назывался «Recent_Soviet_Immigrants_1979_Visson.mp4».

Это был уникальный, почти забытый исторический документ. 1979 год, Соединенные Штаты Америки. Масштабный академический проект «Recent Soviet Immigrants in America», направленный на изучение лингвистической, культурной и психологической адаптации выходцев из Советского Союза. Интервьюером выступала Линн Виссон — блестящий лингвист, синхронный переводчик, человек с тонким пониманием как американской, так и русской ментальности. Ее задачей было фиксировать нарративы эмигрантов, их языковые сдвиги, их восприятие новой реальности.

Для большинства исследователей этот архив представлял интерес исключительно с точки зрения социологии и филологии. Для меня это был материал для поведенческой реконструкции.

Я запустил видео. На экране, сквозь характерную рябь и цветовые искажения старой пленки, появилось лицо молодого Александра Дворкина. Ему двадцать четыре года. Он находится в США всего несколько лет. Статус — эмигрант, студент, человек, который по всем социальным и психологическим законам должен находиться в позиции адаптанта, пытающегося встроиться в новую, подавляющую своим масштабом реальность.

Но то, что я увидел с первых же секунд записи, в корне противоречило профилю обычного эмигранта.

Я не стал вслушиваться в содержание его ответов. Содержание — это всегда конструктор, сознательная попытка казаться кем-то. Меня интересовала форма. Меня интересовала механика взаимодействия.

Таймкод 00:02:14. Линн Виссон задает стандартный, открытый вопрос о первых впечатлениях от Нью-Йорка. Это классический прием интервьюера — дать собеседнику безопасную площадку для разгона, позволить ему освоиться.

Я нажал на паузу, затем начал покадровое воспроизведение.

Реакция объекта не была реакцией человека, отвечающего на вопрос. Это была реакция хищника, оценивающего расстановку сил. Прежде чем открыть рот, Дворкин делает микроскопическое движение челюстью — признак подавленного напряжения, — а затем его взгляд на долю секунды фиксируется не на глазах Виссон, а чуть выше, на линии ее лба. В профайлинге это называется «взглядом доминирования». Он не устанавливает контакт, он устанавливает иерархию.

Затем следует ответ. Но он начинается не с сути вопроса.

— Видите ли, сама постановка вопроса о впечатлениях подразумевает некую пассивность восприятия, — произносит он, слегка растягивая слова.

Я снова остановил запись и сделал пометку в своем электронном блокноте. Маркер 1: Перехват инициативы через обесценивание вопроса.

Это не просто академическое занудство. Это фундаментальный поведенческий паттерн. Человек с нормальной структурой личности, находясь в позиции интервьюируемого, принимает правила игры. Он отвечает на заданный вопрос, признавая временный авторитет интервьюера, ведущего беседу. Для личности, чьим ядром является потребность в тотальном контроле, любая подчиненная позиция — даже формальная, в рамках социологического опроса — становится внутренне конфликтной.

Дворкин не мог просто ответить. Ему было необходимо разрушить фрейм, заданный Линн Виссон, и выстроить свой собственный. Он обесценивает ее вопрос, маркируя его как некорректный, тем самым мгновенно меняя роли: теперь не она исследует его, а он экзаменует ее.

Я продолжил воспроизведение. Таймкод 00:05:30.

Виссон, будучи профессионалом, мягко, но настойчиво пытается вернуть беседу в русло своего исследования. Она задает уточняющий вопрос о языковом барьере.

И здесь проявляется второй структурный маркер. Игнорирование.

Дворкин не перебивает ее грубо. Он делает нечто гораздо более изощренное. Он дожидается, пока она закончит фразу, выдерживает паузу ровно на полсекунды дольше, чем того требуют нормы вежливого диалога — создавая искусственный вакуум, заставляющий собеседника почувствовать легкий дискомфорт, — и начинает говорить о совершенно другом аспекте, полностью игнорируя то, что только что сказала Виссон.

Я смотрел на экран, и холодная, академическая ясность заполняла мое сознание. Это была не просто беседа. Это был микроскопический акт агрессии, упакованный в социально приемлемую форму.

Он физически захватывал пространство. Я обратил внимание на его позу. В начале интервью он сидел ровно, руки были сложены на коленях. К десятой минуте его тело начало экспансию. Он откинулся на спинку стула, широко расставив локти, заняв максимум доступного объема. Его жестикация стала рубленой, директивной. Когда он говорил, он использовал указательный палец, ритмично рассекая воздух, словно дирижируя невидимым оркестром или отдавая приказы.

Линн Виссон, напротив, начала демонстрировать признаки микростресса. Я видел, как она незаметно поправляет воротник блузки — классический жест самоуспокоения (pacifying behavior). Как она скрещивает лодыжки под стулом. Как ее голос теряет изначальную уверенную, академическую интонацию и становится чуть более высоким, извиняющимся.

Она, опытный исследователь, могла не осознавать, что происходит на структурном уровне. Она думала, что берет интервью у сложного, интеллектуального эмигранта. На самом деле она подвергалась методичному психологическому подавлению.

Дворкин тестировал свои инструменты. В 1979 году у него еще не было власти, не было статуса, не было аппарата принуждения. У него был только его интеллект и его патологическая потребность доминировать. И он использовал их с пугающей эффективностью, превращая обычный диалог в арену, где он должен был остаться единственным победителем.

Иллюзия всемогущества. Это не просто метафора. Это клинический конструкт, описывающий состояние, при котором субъект искренне верит, что его воля, его

интеллект и его картина мира обладают абсолютным приоритетом над реальностью других людей. Любое несогласие, любой встречный вопрос воспринимается не как повод для дискуссии, а как угроза, которую необходимо немедленно подавить.

Я откинулся в кресле, чувствуя, как тупая боль пульсирует в висках. Зрение снова начало терять резкость. Я закрыл глаза и глубоко вдохнул, концентрируясь на звуке кулера в системном блоке. Мне нужно было зафиксировать эти наблюдения. Не просто описать их, а встроить в общую матрицу досье.

Но прежде чем я начал печатать, в моей голове всплыл один вопрос.

Если эти маркеры так очевидны для специалиста по поведенческому анализу, неужели никто другой, изучавший этот архив за прошедшие сорок лет, не обратил на них внимания? Лингвисты искали фонетические ошибки. Социологи искали паттерны адаптации. Но неужели никто не посмотрел на это видео через оптику психологии контроля?

Я открыл браузер и запустил специализированный поисковый алгоритм, настроенный на глубокий парсинг архивных форумов, закрытых академических баз данных и старых веток обсуждений, связанных с проектом Линн Виссон. Я ввел несколько ключевых параметров: имя интервьюера, год, имя объекта и набор терминов из невербальной семиотики.

Поиск занял около двадцати минут. За это время я успел выпить стакан воды, отметив, что металлическое послевкусие во рту, побочный эффект утренних таблеток, стало еще более отчетливым.

Алгоритм выдал несколько десятков совпадений. В основном это были сухие библиографические ссылки и упоминания в диссертациях по славистике. Я начал методично отсеивать мусор.

На третьей странице выдачи мой взгляд зацепился за странный URL. Это был кэшированный снимок давно умершего форума, посвященного прикладному психоанализу и невербальной коммуникации. Снимок датировался 2014 годом. Ветка обсуждения называлась «Аномалии невербального поведения в архивных интервью».

Я перешел по ссылке. Страница загрузилась без стилей, голым черным текстом на белом фоне.

Пользователь с ником, состоящим из случайного набора цифр — «73910_Observer» — оставил развернутый комментарий к ссылке на то самое интервью Дворкина 1979 года.

Я начал читать, и по мере продвижения по тексту мое дыхание замедлилось.

«Большинство коллег в этой ветке обсуждают лингвистическую интерференцию субъекта. Это ошибка фокуса. Посмотрите на таймкод 00:14:22. Обратите внимание на базовый диссонанс между вербальным посылом и микровыражениями. Субъект говорит о трудностях понимания американской культуры, демонстрируя социально приемлемую улыбку. Но посмотрите на круговую мышцу глаза (*orbicularis oculi*). Она абсолютно расслаблена. Это фальшивая улыбка, маска. А теперь посмотрите на интонационный рисунок. В момент, когда интервьюер пытается перехватить инициативу, интонация субъекта становится абсолютно плоской, лишенной эмпатических обертонов. Он не общается. Он сканирует уязвимости. Это не адаптация эмигранта. Это калибровка контроля. Мы видим формирование структуры, которая не терпит паритета».

Я перечитал этот абзац трижды.

Слова были другими, терминология чуть отличалась от моей, но суть, оптика, угол зрения были абсолютно идентичными. Этот неизвестный «73910_Observer» смотрел на то же самое видео и видел не филологический материал, а поведенческую аномалию. Он зафиксировал тот же самый перехват инициативы, ту же самую фальшь, ту же самую потребность в доминировании.

Я почувствовал странное, почти физическое облегчение. Одиночество исследователя, идущего против течения общепринятых догм, — это тяжелый груз. Когда ты единственный, кто видит трещины на монолите, всегда есть риск усомниться в собственной адекватности. Но этот цифровой след, оставленный годы назад на забытом форуме, был доказательством того, что я не сошел с ума.

Кто-то другой уже обратил внимание на это слепое пятно. Кто-то другой уже начал задавать правильные вопросы. Этот человек обладал аналитическим складом ума, он знал анатомию лица, он понимал механику невербальной коммуникации. И, что самое главное, он не был ослеплен статусом объекта.

Я сохранил страницу в отдельную защищенную папку. Я пока не знал, кто скрывается за этим цифровым псевдонимом, жив ли этот человек, продолжает ли он свои исследования. Но я знал одно: в этом информационном вакууме я больше не один. Существовал невидимый диалог, начатый задолго до того, как я открыл свое досье.

Я вернулся к видеоплееру. Таймкод 00:14:22. Тот самый момент, на который указал неизвестный пользователь.

Я отмотал запись на несколько секунд назад и нажал на воспроизведение.

Линн Виссон задает вопрос, который слегка выходит за рамки комфортной для Дворкина зоны. Она спрашивает о его отношениях с другими эмигрантами, о возможных конфликтах внутри диаспоры. Это вопрос, требующий рефлексии и признания собственной уязвимости или неправоты.

Дворкин начинает отвечать. На его лице появляется та самая социальная улыбка — растянутые губы, обнажающие зубы в подобии дружелюбия. Он говорит гладкие, правильные слова о сложности человеческих взаимоотношений.

Я положил палец на клавишу пробела, ожидая нужной доли секунды.

Виссон, чувствуя, что он уходит от ответа, делает легкое движение рукой, пытаясь вставить уточняющую реплику.

В этот микроскопический момент, длительностью не более трети секунды, происходит сбой.

Я ударил по пробелу. Кадр замер.

Я придвинулся ближе к монитору, игнорируя резь в уставших глазах.

На застывшем изображении лицо Александра Дворкина было расколото надвое. Нижняя половина лица все еще удерживала социальную маску — губы были растянuty в вежливой полуулыбке. Но верхняя половина...

Маска соскользнула.

Глаза смотрели прямо на Линн Виссон. В них не было ни дружелюбия, ни академического интереса, ни даже банального раздражения от того, что его перебили.

Это был абсолютно холодный, мертвый, оценивающий взгляд. Взгляд энтомолога, смотрящего на насекомое, которое посмело дернуться под булавкой. В этом взгляде читалось абсолютное, ничем не прикрытое превосходство и ледяная готовность уничтожить любого, кто посягнет на его право контролировать реальность.

В этом застывшем кадре из 1979 года не было профессора. Не было богослова. Не было защитника морали.

Здесь, в тишине моего кабинета, с экрана монитора на меня смотрела чистая, беспримесная иллюзия всемогущества, осознавшая свою силу. И она только начинала свой путь.

Глава 2. Архитектура прошлого

Пространство моего кабинета постепенно сжималось, превращаясь в физическую проекцию чужого разума. Стены исчезли за рядами пробковых досок, плотно увешанных распечатками, ксерокопиями архивных документов, схемами и фотографиями. Я выстраивал хронологию. В криминальном профайлинге и глубоком поведенческом анализе время — это не просто линейная последовательность событий. Время — это среда, в которой кристаллизуется патология. Невозможно понять архитектуру взрослой, социально адаптированной личности, обладающей властью и авторитетом, не спустившись в подвалы ее формирования. Туда, где закладывался фундамент.

Как правило, специалист применяет индуктивный подход, предполагающий сравнительный анализ поведенческих паттернов и реконструкцию мотивационной структуры на основе детального изучения ранней психобиографии. Опытного аналитика всегда интересуют базовые вопросы: какие мотивы лежат в основе потребности тотального контроля? Как субъект мыслит, и под какими социально одобряемыми масками он скрывает свои истинные, глубинные дефициты? Ведущие специалисты в области поведенческого анализа, обобщив колоссальный массив эмпирических данных, давно пришли к однозначному выводу: формирование деструктивной структуры личности начинается в латентный период, в возрасте от восьми до десяти лет. Именно в этом окне уязвимости могут закладываться те несущие конструкции, которые впоследствии определяют траекторию жизни человека.

Я подошел к левому краю центральной доски. Здесь, под заголовком, выведенным черным маркером на плотном картоне, начиналась зона ранней биографии Александра Леонидовича Дворкина. Я намеренно отсекаю все его современные регалии, статусы и публичные образы. Передо мной был не профессор и не общественный деятель. Передо мной был объект исследования в его исходном, еще не отформатированном состоянии.

На моем рабочем столе лежала стопка архивных выписок. Это были сухие, бюрократические документы: справки о регистрации, данные о переводах из одного учебного заведения в другое, адреса проживания семьи в разные годы. На первый взгляд, в них не было ничего примечательного — обычная советская номенклатура. Но моя задача заключалась в том, чтобы читать не текст, а интервалы между строками. Я взял в руки карандаш и начал методично сопоставлять даты переездов и смены окружения.

Ретроспективный анализ этих бумаг выявил первую, фундаментальную особенность. Я вычерчивал на миллиметровой бумаге график социальных связей объекта в детстве и юности, и этот график представлял собой пунктирную линию, состоящую из обрывов. Нормальное социальное развитие ребенка подразумевает формирование устойчивых привязанностей: школьные друзья, соседи по двору, приятели по секциям, с которыми поддерживается контакт на протяжении многих лет.

Эти связи служат якорями, формирующими эмпатию и понимание границ другого человека.

У исследуемого объекта таких якорей не было. Даты в архивных выписках свидетельствовали о постоянной, почти ритмичной смене декораций. Но дело было не только в физических переездах. Анализируя косвенные свидетельства и воспоминания современников, я зафиксировал устойчивый поведенческий паттерн, который в психологии называется «сжиганием мостов». Субъект не просто терял связь с прежним окружением при смене школы или района; он активно и радикально обрывал эти контакты. В его ранней биографии полностью отсутствуют упоминания о длительных, равноправных дружеских отношениях.

Эта тотальная социальная изоляция в юности не была следствием внешнего отвержения. Это был активный выбор, продиктованный формирующейся структурой личности. Для человека, чьим ядром становится потребность в доминировании, равноправные отношения невыносимы. Дружба требует паритета, уступок, признания чужой ценности. Изоляция же создает вакуум, который субъект начинает заполнять фантазиями о собственной исключительности. Не имея возможности выстроить нормальную иерархию в реальном социуме, подросток выстраивает ее в своем воображении, где он всегда занимает вершину. Отсутствие устойчивых социальных связей компенсировалось грандиозным, но хрупким нарциссическим конструктом.

Я потянулся к стопке распечаток, чтобы сделать пометку на полях документа, фиксирующего один из таких резких переходов в биографии объекта. Я взял свой любимый капиллярный линер с тонким металлическим наконечником.

В этот момент это произошло снова.

Сначала я почувствовал легкое покалывание в подушечках пальцев правой руки, словно от статического электричества. Затем мышцы предплечья напрялись, отказываясь подчиняться тормозящим сигналам коры головного мозга. Легкий, неконтролируемый тремор охватил кисть. Я попытался сжать пальцы крепче, чтобы стабилизировать ручку, но это лишь усилило амплитуду колебаний. Демиелинизация нервных волокон — это не просто медицинский термин из моей карты. Это физическое

ощущение того, как твое тело перестает быть твоим инструментом и становится препятствием.

Я попытался опустить наконечник линера на бумагу, чтобы вывести букву, но рука дернулась с неожиданной резкостью. Острый металл пробил плотный лист распечатки. Спазм заставил мою руку дернуться в сторону, и линер с сухим, отвратительным треском разорвал важный документ пополам, оставив на бумаге рваную черную рану.

Я замер, глядя на испорченный лист. Тремор медленно утихал, оставляя после себя тупую, ноющую слабость в мышцах. Я аккуратно положил ручку на стол и прижал дрожащую ладонь к прохладной поверхности столешницы. Дыхание сбилось. Этот разорванный лист был не просто досадной случайностью. Это был хронометр моей болезни, отсчитывающий время, которого у меня оставалось все меньше. Болезнь переходила в активную фазу, вторгаясь в мою работу, разрушая мою моторику. Я не мог позволить себе роскошь отчаяния. Я должен был успеть зафиксировать структуру до того, как мой собственный физический фундамент окончательно рухнет.

Я сдвинул порванный документ в сторону и открыл на мониторе следующий файл. Мне нужно было спуститься еще глубже по шкале времени. К той самой отметке в восемь лет, о которой писали исследователи ранних поведенческих схем.

В автобиографических текстах самого объекта этот период отмечен одним крайне специфическим эпизодом. Отдельно необходимо учитывать критический инцидент, связанный с пребыванием восьмилетнего Саши Дворкина в летнем пионерском лагере. В своих воспоминаниях он описывает этот опыт как «крайне негативный» и настолько травматичный, что он побудил послушного, домашнего ребенка к радикальному действию — побегу.

Я вчитывался в семантику его собственных описаний этого события. Большинство детей испытывают стресс при первой разлуке с семьей и помещении в незнакомую среду. Но реакция объекта выходит за рамки адаптационного кризиса. Впоследствии субъект отмечает формирование устойчивой, непреодолимой антипатии к коллективизму и всему, что с ним связано. Это не просто детская обида. Это раннее, фундаментальное формирование паттерна недоверия к институциональным структурам и любой среде, где он не может устанавливать собственные правила.

Лагерь — это система с жесткой иерархией, расписанием и правилами, где восьмилетний ребенок является лишь подчиненным элементом. Для формирующейся личности с зачатками иллюзии всемогущества пребывание в такой системе может переживаться как предельная потеря контроля. Побег в данном контексте — это не акт трусости, это акт возвращения контроля. Это декларация: «Я не подчиняюсь вашим правилам, я выхожу из вашей системы». Именно здесь, в возрасте восьми лет, могла закрепиться матрица, которая позже определит его отношение к любым структурам: он либо разрушает их, либо возглавляет, но никогда не интегрируется в них на правах рядового участника.

Но побег из лагеря был лишь прелюдией. Настоящий тектонический сдвиг в архитектуре его личности произошел позже, в подростковом возрасте.

Я открыл на экране отдельную, зашифрованную папку. В ней хранились материалы, требующие максимальной аналитической отстраненности. Исходя из фактов, изложенных в книге Джеймса Ресслера «Маньяк против Бога», исследователь выстраивает хронологию ранней социальной изоляции объекта и анализирует события, произошедшие, когда субъекту было около пятнадцати лет, в девятом классе.

Согласно этим данным, опирающимся на многократно перепроверенные свидетельства и ретроспективный анализ, в этот период субъект совершает действия, которые навсегда переводят его из категории трудного подростка в категорию формирующегося хищника. Речь идет о жестоком акте физического насилия над первоклассником, совершенном с привлечением зависимого, слабого сверстника — друга по имени Яша. Впоследствии, с целью сокрытия этого деяния, происходит устранение самого Яши.

Я смотрел на эти материалы не как судья и не как следователь. Моей задачей было проанализировать их психологическое значение. В криминологии и поведенческом анализе первый акт крайнего насилия рассматривается как ядерный взрыв в психике. Он уничтожает прежнюю структуру личности и на ее месте сплавляет новую, монолитную конструкцию.

Анализируя этот эпизод, я выделил несколько ключевых структурных элементов, которые могли стать несущими опорами для всей последующей жизни объекта.

Первый элемент — выбор жертвы. Первоклассник и заикающийся, ведомый друг. Субъект не вступает в конфликт с равными или более сильными. Он безошибочно, инстинктивно выбирает тех, кто слабее физически, кто психологически уязвим, кто склонен к подчинению и не способен к симметричному ответному насилию. Это раннее проявление модуса операнди (МО), который в будущем трансформируется: вместо физически слабых детей он будет выбирать социально уязвимые группы, маргиналов или людей, находящихся в духовном поиске, чтобы обрушивать на них всю мощь своего институционального аппарата.

Второй элемент — ритуализация и символизм. В материалах дела фигурируют камни, яма, вода, лодка. В совокупности выбор именно этих повторяющихся образов выходит за рамки случайности. Вода как символ, связанный в памяти со смертью. Лодка как изолированное пространство, где субъект находится один, полностью контролируя ситуацию. Жест руки как проявление абсолютной власти над судьбой. В психотравматологии подобные повторяющиеся символы бессознательно выбираются субъектом и выступают способом неосознанной репрезентации неинтегрированного опыта. Криминологические исследования указывают на то, что лица с подобным профилем часто демонстрируют устойчивую тенденцию к воспроизведению символики своего первого акта в фантазиях, творчестве или последующем поведении. Это компульсивное воспроизведение — попытка снова и снова удерживать контроль над тем, что однажды вышло за пределы допустимого.

Но самым важным, самым пугающим элементом этой ранней архитектуры был третий — концепция «пустого неба».

Я откинулся в кресле, чувствуя, как гудит напряженная шея. За окном стемнело, и в стекле отражалось мое бледное, осунувшееся лицо на фоне светящегося монитора.

В материалах описывался диалог между субъектом и Яшей. Яша, воспитанный в религиозной парадигме, говорил о Боге как о «невидимой руке», которая может наказать. Для пятнадцатилетнего подростка, совершившего непоправимое, этот момент должен был стать точкой максимального экзистенциального ужаса. Ожидание неминуемой кары.

Но кары не последовало. Небо осталось пустым.

Именно в этот момент, на берегу пруда, в сознании субъекта произошел фазовый переход. Если высшей инстанции не существует, если запредельное насилие не влечет за собой мгновенного космического возмездия, значит, тот, кто совершает насилие, сам становится высшей инстанцией. Иллюзия всемогущества родилась не в академических залах и не на кафедрах. Она родилась из осознания абсолютной, звенящей безнаказанности. Понятие «безнаказанность» применимо только в парадигме «преступление — наказание». Осознав, что он избежал правосудия, субъект утвердился в мысли, что он стоит над законом, над моралью, над человечеством.

Лишение жизни другого человека не проходит бесследно. Оно не хранится в архиве памяти как пыльная фотография. Оно въедается в несущие конструкции личности, перестраивая ее архитектуру навсегда. Убийство живет не в воспоминаниях, оно живет в самой структуре психики.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, мне нужен был независимый источник. Документ, зафиксировавший состояние психики объекта до того, как он научился виртуозно маскировать свои девиации под социально одобряемую деятельность.

Я открыл файл с отсканированными страницами романа Аркадия Ровнера «Калалацы».

В рамках психологического профилирования эта книга выполняла функцию «независимого самописца». Роман был издан, когда объекту было всего двадцать пять лет, и базировался на его собственных устных рассказах. В книге биография молодого Дворкина воплощена через персонажа по имени Костя Лопухов. Совпадение поведенческих паттернов, речевых оборотов, деталей биографии (родственники, отсутствие отца) и даже сценарных образов сновидений между персонажем 1980 года и автобиографиями самого Дворкина, написанными спустя три десятилетия, было абсолютным. Ровнер, осознанно или нет, зафиксировал исходный код личности объекта.

Я прокрутил текст до нужной страницы. В книге был представлен эпизод, связанный со смертью Яши, который содержал прямое клиническое указание на переживание субъектом глубокого диссоциативного состояния.

Я начал читать вслух, медленно, вслушиваясь в ритм чужого распадающегося сознания:

«Маленьким я часто думал: “Что бы со мной ни случилось — будет всё то же, и нет никакой надежды проснуться”. Всё моё детство было беспокойным сном с полётами, падениями и кошмарами, и когда я повзрослел, ничего не изменилось. Когда он начался, этот сон, я не помню. Мне кажется, я всё время медленно лечу: одно сменяется другим. Я очнулся впервые в девятом классе, когда умер Яша, и вот с тех пор точно смотрю на себя со стороны. Ничему нельзя верить — и радость, и печаль, и даже боль — всё приходит и уходит, а я смотрю и не могу оторваться. И ничего меня не интересует по-настоящему. Даже смерть не кажется мне страшной. Я знаю: умру — и случится то же. В семнадцать лет я догадался: кайф — это выход. Я — под гипнозом, и не проснуться даже от смерти. Но возможны секунды полупробуждения — от музыки, от разговора, от дряни. Это как будильник по утрам — вскакивай и беги. Цель системы — качать кайф. Кайф — надмирная работа. Системы растят мастеров кайфа».

Я замолчал. Тишина в кабинете казалась плотной, осязаемой.

В этом фрагменте описывался классический феномен деперсонализации — тяжелой формы диссоциации, при которой человек испытывает тотальное отчуждение от собственного тела, мыслей и действий, воспринимая себя как внешнего наблюдателя. «Я очнулся впервые в девятом классе, когда умер Яша, и вот с тех пор точно смотрю на себя со стороны».

Это не литературная метафора. Это точнейшее клиническое описание защитного психологического механизма. В ответ на непереносимый стресс и осознание совершенного деяния, психика подростка, не обладающая достаточной устойчивостью для интеграции такого чудовищного опыта, просто раскололась. Индивид полностью утратил связь с реальностью, своими чувствами и моральными ориентирами.

В контексте криминального профайлинга устойчивая диссоциация рассматривается как один из главных поведенческих маркеров скрытого гомицидального поведения. Она позволяет субъекту психологически дистанцироваться от совершенного насильственного действия, обнулить чувство вины и сохранить внешнюю социальную адаптацию. Как отмечают ветераны ФБР, убеждение в том, что у

них отсутствуют эмоции по отношению к моменту убийства, широко распространено среди серийных преступников. В момент наивысшего напряжения возникает диссоциативное состояние, отсекающее эмпатию.

«Ничему нельзя верить — и радость, и печаль, и даже боль — всё приходит и уходит, а я смотрю и не могу оторваться. И ничего меня не интересует по-настоящему».

Эти слова — эпитафия человечности. Субъект признается в абсолютной эмоциональной пустоте. Радость, печаль, чужая боль больше не имеют для него значения. Он стал наблюдателем, смотрящим на мир из-за непробиваемого стекла деперсонализации. Единственное, что остается в этой пустоте — это потребность в стимуляции, потребность чувствовать хоть что-то, что он называет «кайфом», и потребность контролировать реальность, чтобы никогда больше не оказаться в позиции уязвимого.

Я перевел взгляд на разорванный лист бумаги на моем столе. Моя собственная физическая уязвимость была очевидной, измеримой медицинскими приборами. Но уязвимость объекта моего исследования была иного рода. Она была структурной.

Вся его личность, весь его будущий авторитет, вся его агрессивная риторика и стремление диктовать обществу нормы морали — все это было выстроено на фундаменте из абсолютного ничто. На диссоциации. На отрицании собственной вины. На пустоте, образовавшейся в девятом классе на берегу пруда.

Он не преодолел эту пустоту. Он просто научился ее маскировать, выстраивая вокруг нее колоссальные защитные сооружения из чужих разрушенных репутаций, институциональной власти и непререкаемого статуса. Он стал автором собственного алиби длиною в жизнь.

Я взял новый, целый лист бумаги. Моя рука все еще была слабой, но тремор отступил, позволив мне крепко сжать карандаш. Я аккуратно переписал основные выводы из цифрового документа на бумагу, формируя физическую копию досье. Я фиксировал факты: отсутствие социальных связей, паттерн изоляции, побег из лагеря, события девятого класса, клинические признаки деперсонализации.

Каждый факт ложился на бумагу как кирпич, но не для того, чтобы построить стену, а для того, чтобы очертить контуры зияющей дыры.

Закончив писать, я посмотрел на получившийся текст. Академичный, сухой, лишенный эмоций. Идеальный срез патологии.

В самом низу страницы, на широком белом поле, я медленно, тщательно контролируя каждое движение пальцев, вывел карандашом один-единственный вопрос. Вопрос, который теперь определял весь дальнейший вектор моего расследования.

Если фундамент состоит из пустоты, что удерживает здание от обрушения?

Глава 3. Химия контроля

Если фундамент человеческой личности состоит из зияющей пустоты, образовавшейся в результате ранней социальной изоляции и радикального отсечения эмпатии, возникает закономерный структурный вопрос: что удерживает это здание от неминуемого обрушения? Психика не терпит абсолютного вакуума. Она требует компенсаторных механизмов, искусственных опор, способных выдержать колоссальное внутреннее давление неинтегрированного опыта и навязчивой потребности в доминировании. Когда естественные социальные связи отсутствуют, а иллюзия собственного всемогущества еще не подкреплена реальной институциональной властью, субъект может обращаться к суррогатам. К инструментам, позволяющим перекраивать реальность под свои нужды без сопротивления внешней среды.

Я сидел за рабочим столом, глядя на разложенные передо мной копии медицинских карт, архивных справок и транскриптов автобиографических текстов, относящихся к периоду семидесятых годов. Мой взгляд скользил по строкам, но внезапно буквы начали терять очертания. Это не было обычным утомлением. Прямо по центру моего поля зрения, в самой точке фокусировки, образовалось серое, слепое

пятно. Оно пульсировало, размывая текст, превращая четкий типографский шрифт в грязную, нечитаемую массу.

Я закрыл правый глаз. Пятно осталось. Закрыл левый — то же самое. Оптический неврит. Очередное, математически предсказуемое следствие демиелинизации зрительного нерва. Моя иммунная система продолжала методично пожирать миелиновую оболочку, нарушая проводимость сигналов от сетчатки к затылочной доле коры головного мозга. Чтобы прочитать документ, мне теперь приходилось слегка отводить взгляд в сторону, используя периферическое зрение, где рецепторы еще функционировали нормально. Это было физически изматывающе, но в этом крылась мрачная ирония: чтобы увидеть истину, мне в буквальном смысле приходилось смотреть на нее под другим углом, избегая прямого, привычного фокуса.

Я сдвинул настольную лампу, меняя угол падения света на пожелтевшие страницы, и продолжил работу, сканируя текст боковым зрением.

Период семидесятых годов, охватывающий позднюю юность объекта в СССР и его последующую эмиграцию в США, представляет собой критическую фазу кристаллизации его патологии. Общепринятый, социально одобряемый нарратив, который объект выстроил десятилетия спустя, гласит, что это было время духовного поиска, диссидентского противостояния системе и вынужденного изгнания. Однако сухие медицинские данные и ретроспективный анализ его собственных текстов рисуют совершенно иную, пугающе прагматичную картину. Это был период тотальной, систематической полинаркомании.

В обыденном сознании наркомания ассоциируется со слабостью, потерей контроля, гедонизмом или попыткой убежать от жестокой реальности. Для обычного человека зависимость — это падение. Но в контексте глубокого поведенческого анализа личности с выраженными чертами грандиозного нарциссизма и скрытой гомицидальной агрессией, употребление психоактивных веществ выполняет принципиально иную функцию. Это не слабость. Это химический протез. Это инструмент агрессивного изменения реальности и попытка обрести ту самую иллюзию всемогущества, когда социальные механизмы контроля еще недоступны.

В книге Джеймса Ресслера «Маньяк против Бога» этот период рассматривается как один из ключевых элементов психобиографической реконструкции; с точки зрения нейробиологии и судебной психиатрии, употребление психоактивных веществ подростком с уже нестабильной структурой самоконтроля может действовать как бензин, плеснутый в тлеющий костер. Наркотики выполняют функцию химического дисингибитора. Они могут ослаблять функции префронтальной коры головного мозга — той самой зоны, которая отвечает за контроль импульсов, моральные суждения и прогнозирование последствий. Для человека с садистическими наклонностями и дефицитом эмпатии психоактивные вещества снимают последние социальные тормоза. Грань между фантазией о насилии и ее реализацией стирается. Кроме того, наркотики усиливают диссоциацию, блокируя рецепторы NMDA, что приводит к ощущению нереальности происходящего и чувству отстраненности от собственного тела. Токсическое воздействие на мозг позволяет психике фрагментироваться, пряча травмирующие воспоминания в дальние углы подсознания.

Я пододвинул к себе распечатку фрагмента из романа Аркадия Ровнера «Калалацы», изданного в 1980 году и базирующегося на устных рассказах самого объекта. В этом тексте, лишенном позднейшей цензуры статусного профессора, зафиксирована пугающая детализация химического конструирования реальности.

«Тот, кто проходил седуксеновую стадию — если проходил, потому что застревали на всех этапах, — переходил к кодеину с ноксиронном, и тогда проявлялся подлинный смысл ноксирона. Если на пять кодеинин брать одну ноксиронину, то кайф получался красивый и чистый, как китайская гравюра. Однажды надо мной жестоко подшутили. Маковый сезон закончился, дырок новых я еще не вышустрил, а старые закрылись. Тогда я пошел к знакомому врачу — тот дал мне фентопил. Я вмазался в задницу — я от кого-то слышал, что если вмазать в мышцу, то выходит красивая кодеиновая таска — и поехал на день рождения к Алене. И вдруг спина моя ушла назад, а шея вперед — меня всего скрутило».

Я подчеркнул карандашом фразу «пять кодеинин на одну ноксиронину». Это не лексикон запутавшегося подростка, ищущего забвения. Это язык химика-

экспериментатора, подбирающего идеальную формулу для взлома собственной центральной нервной системы.

Седуксен (диазепам) — мощный транквилизатор бензодиазепинового ряда. Кодеин — опиат. Циклодол — холинолитик, применяемый в психиатрии для коррекции побочных эффектов нейролептиков, но в высоких дозах способный вызывать галлюцинации. Ноксирон — снотворное, которое при превышении дозы может давать парадоксальные, токсические и изменяющие сознание эффекты.

Объект не просто употреблял наркотики. Он практиковал тяжелую полинаркоманию, осознанно комбинируя депрессанты центральной нервной системы с опиоидами. Согласно фармакологическим исследованиям, совместное употребление бензодиазепинов (седуксена) и опиоидов приводит к синергическому усилению их угнетающего воздействия. Развивается угнетение дыхания, нарушается сознание, резко возрастает риск комы и летального исхода.

Зачем человеку, чьим базовым драйвом является тотальный контроль, подвергать себя риску потери сознания и смерти? Ответ кроется в специфике его патологии. Для него контроль над внешней средой был временно недоступен — он был молод, не имел статуса, находился в конфликте с государственными институтами. Поэтому он перенес потребность в доминировании внутрь себя. Смешивая смертельно опасные коктейли, балансируя на грани остановки дыхания, он играл в бога со своим собственным телом. Он сам назначал себе дозировку реальности. Описание острой дистонической реакции — «спина моя ушла назад, а шея вперед — меня всего скрутило» — это точнейшая клиническая фиксация побочного эффекта нейролептиков. Он запомнил это не как трагедию, а как технический сбой в своей химической лаборатории.

Эта лаборатория требовала бесперебойных поставок. И здесь мы сталкиваемся с еще одним важнейшим поведенческим маркером — нарциссическим оппортунизмом и готовностью использовать институциональную систему для уничтожения конкурентов.

Я открыл файл с пометкой «Микрокейс: Офелия и Павел».

В автобиографических текстах объекта и в романе Ровнера фигурирует квартира некой Офелии — классический притон, где собирались представители субкультуры, и где

иерархия жестко выстраивалась вокруг доступа к психоактивным веществам. Объект описывает эту среду с характерным высокомерием: «Одной из самых известных среди хипповых компаний стала группа, называвшая себя просто: “Волосы”. Я часто встречался с ними, но от более тесных отношений меня удерживала неприемлемая для меня, да и нетипичная для хиппи, организованность и подчинение своему лидеру — довольно некрасивой девушке по кличке Офелия».

Его отталкивала не маргинальность среды и не наркотики. Его отталкивало «подчинение своему лидеру». Он физиологически не мог находиться в структуре, где центром власти был кто-то другой.

Но наиболее показательным является эпизод с человеком по имени Павел (в поздних мемуарах названным Толей Вайнбергом). Именно этот человек ввел объекта в субкультуру, показал ему систему и обеспечил первичный доступ к веществам. В какой-то момент между ними происходит конфликт. В «Калалацах» описана сцена, где Павел, узнав о некоем предательстве со стороны объекта, угрожает ему ножом.

Реакция объекта на эту угрозу — это шедевр манипулятивной инженерии, который станет шаблоном для всей его последующей жизни. Он не вступает в открытое противостояние. Он не пытается решить конфликт внутри субкультуры. Он обращается к той самой системе, которую якобы презирает.

«Добежал я до дому, заперся на все замки и задвижки и стал писать записку... Мама утром нашла записку на кухне, побежала к директорше, вызвали участкового, толкнули меня в кабинет, и там я рассказал Кузякину и Вась Васичу все, что знал и о дырках, и о героине, и обо всем. Знал, что закладываю, что всю жизнь буду мучиться потом, и все же рассказал».

Я перечитал этот абзац, глядя на него сквозь периферическое зрение. «Знал, что закладываю, что всю жизнь буду мучиться потом, и все же рассказал». Это блестящая имитация морального конфликта. На самом деле, никакого мучения не было. Был холодный, расчетливый акт устранения угрозы чужими руками. Он использовал государственную машину — школу, участкового, милицию — как свой личный карательный инструмент. Он сдал человека, который ввел его в систему, тем самым не

только обезопасив себя, но и монополизировав свой собственный доступ к ресурсам, устранив конкурента.

В этом микрокейсе заложена вся будущая архитектура его публичной деятельности. Выявить уязвимую группу, внедриться в нее, изучить ее механизмы, а затем, прикрываясь маской «покаявшегося» или «жертвы», натравить на эту группу всю мощь государственного аппарата. Разница лишь в том, что в семидесятых это был один участковый и один подросток с героином, а десятилетия спустя это будут министерства, суды и целые религиозные организации. Масштаб изменился, но структурный паттерн остался узнаваемым.

Откуда у молодого человека, не имеющего профильного образования, взялись столь глубокие, почти профессиональные знания в области психофармакологии? Как он научился так виртуозно манипулировать дозировками и понимать механизмы действия препаратов?

Я обратился к биографическим справкам, собранным из различных независимых источников. Картина складывалась из множества фрагментов, образуя единый контур медицинской компетенции, полученной неформальным путем.

Во-первых, семейный анамнез. Дед объекта отбывал наказание в сталинских лагерях за преступления, связанные с «химией». Сестра состояла на учете в психоневрологическом диспансере, что обеспечивало постоянное наличие сильнодействующих препаратов в домашней аптечке и возможность наблюдать за их клиническим эффектом.

Во-вторых, личный психиатрический опыт. Объект сам в течение нескольких лет находился под наблюдением специалистов психоневрологического диспансера и проходил стационарное лечение, где на собственном организме изучал действие нейролептиков и транквилизаторов. В одном из интервью он цинично замечает: «Статус “психически больных” давал нам право делать многое из того, чего другие никогда бы не позволили себе. Поэтому психиатрические больницы были просто ценой, которую мы платили за эту свободу». Болезнь использовалась как алиби, как щит от социальной ответственности.

Но самым пугающим элементом этой мозаики был его профессиональный эпизод. Находясь на учете в ПНД, объект некоторое время работал санитаром в отделении травматологической реанимации.

Я нашел в его текстах фрагмент, описывающий этот опыт. Он пишет о смерти пациентов: «Умирание переносится в больничные стены, где живущего последние дни человека загружают наркотиками, транквилизаторами, антидепрессантами — чем угодно, только бы он не пребывал в полном сознании, не устроил бы никаких истерик или незапланированных выходов, чтобы его самого не мучили страхи и чтобы он в таком полубессознательном состоянии отошел в мир иной».

Он критикует эту практику, но в его словах сквозит не сострадание, а специфический, холодный интерес к процессу перехода. Для личности с выраженными психопатическими чертами и комплексом «богоподобия», реанимация — это идеальный полигон. Это место, где жизнь и смерть контролируются химией. Где человек абсолютно беспомощен, а тот, кто держит в руках шприц с фентопилом или морфином, обладает абсолютной властью. Его возмущение тем, что пациентов «загружают наркотиками», звучит как разочарование садиста, у которого отняли возможность наблюдать за осознанным страданием жертвы. Смерть для него — это не трагедия, это пространство для реализации контроля.

Я откинулся на спинку кресла и потер переносицу. Серое пятно в глазу слегка пульсировало в такт сердцебиению. Мне нужно было подтвердить некоторые даты госпитализаций объекта в семидесятые годы, чтобы точно сопоставить их с периодами его наиболее агрессивного поведения.

Я открыл защищенный браузер, настроенный на работу через цепочку прокси-серверов, и вошел в закрытую базу данных архивных медицинских записей. Это был сводный цифровой реестр, куда несколько лет назад энтузиасты-архивисты слили оцифрованные картотеки старых советских ПНД и наркологических диспансеров. Интерфейс был примитивным, состоящим из голых таблиц и поисковых строк.

Я ввел фамилию, год рождения и код диагноза, связанного с полинаркоманией и циркулярным психозом. Система задумалась на несколько секунд, обрабатывая запрос к массиву данных, а затем выдала список отсканированных документов.

Я кликнул на первую ссылку, чтобы открыть выписку из истории болезни за 1976 год. Документ загрузился, но мое внимание привлекло не его содержимое.

В правом нижнем углу экрана, в служебном блоке метаданных системы, отображалась статистика обращений к данному конкретному файлу. База была специфической, узкопрофильной, и случайные люди сюда не заходили. Обычно счетчик просмотров на таких старых документах стоял на нуле или единице — моем собственном просмотре.

Но сейчас счетчик показывал цифру «2».

Я нахмурился, игнорируя оптический дефект, и придвинулся ближе к монитору. Я открыл лог-файл обращений к документу.

Первая запись была сгенерирована прямо сейчас, моим текущим сеансом. Вторая запись датировалась ровно месяцем ранее.

Кто-то другой запрашивал эту же самую медицинскую выписку. Кто-то другой искал подтверждение полинаркомании объекта в семидесятых годах.

Я быстро проверил логи соседних документов — справок о постановке на учет, записей о применении седуксена и циклодола. Везде стояла та же самая отметка. Месяц назад неизвестный пользователь методично, документ за документом, скачивал весь медицинский архив объекта.

Я посмотрел на IP-адрес, оставленный в логах. Он был скрыт за VPN-сервисом, но паттерн запросов, их строгая хронологическая последовательность и хирургическая точность выбора документов говорили сами за себя. Это был не журналист, ищущий дешевую сенсацию. Журналисты скачивают один документ с диагнозом и бегут писать статью. Этот человек скачивал рецептурные листы, графики изменения дозировок, записи о побочных эффектах. Он изучал химическую механику процесса.

Это был тот самый «73910_Observer». Тот самый неизвестный исследователь, чей цифровой след я уже находил на старом форуме при анализе невербалики.

В тишине моего кабинета, нарушаемой лишь гудением системного блока, я физически ощутил присутствие другого разума. Мы двигались параллельными курсами

в этой темной воде. Он задавал те же вопросы, что и я. Он понимал, что ключ к текущему всемогуществу объекта лежит в его прошлом бессилии и попытках компенсировать его химическим путем. Я не знал его имени, не знал его мотивов, но я знал его метод. И этот метод был безупречен.

Я закрыл базу данных и вернулся к своему текстовому редактору. Наличие Преемника — человека, способного воспринять и продолжить мою работу — придавало моим действиям окончательный смысл. Моя задача теперь заключалась не просто в сборе фактов, а в их кристально чистой систематизации. Я должен был выстроить мост между химией семидесятых и властью двухтысячных.

Я начал печатать, тщательно подбирая слова, формируя итоговый вывод этой части досье.

В автобиографии «Моя Америка» объект пишет о наркотиках: «Постепенно доза начала заменять все — идеи, друзей, любовь, да и жизнь, наконец. Все чаще мы сталкивались с торговлей между своими, с воровством, с предательством друзей, с отказом от самых близких людей».

Однокурсницы по пединституту, чьи показания были опубликованы в издании «Трибуна», вспоминают его в тот период: «Дворкин был совершенно неагрессивным, потому что окружающая действительность его мало волновала, тем более если он был под воздействием какой-нибудь химии. Он просто не ходил на занятия или появлялся со своей компанией в несколько отрешенном виде».

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, комментируя эти материалы, констатировал: «Те, кто употребляет наркотики — это психологически измененные люди... у примерно четверти больных начинаются необратимые изменения головного мозга».

Сопоставление этих медицинских и биографических данных семидесятых годов с позднейшей поведенческой ригидностью объекта позволяет сделать фундаментальный вывод.

Полинаркомания не была случайным эпизодом юности. Она была первой, сырой попыткой выстроить иллюзию всемогущества. Химия позволяла объекту отключать

эмпатию, диссоциироваться от реальности и чувствовать себя неуязвимым наблюдателем. Но химический протез имел критический недостаток — он разрушал физический носитель. Органические поражения лобных долей, риск летального исхода от передозировки, зависимость от поставщиков — все это в конечном итоге угрожало самому существованию субъекта.

В какой-то момент, вероятно, в период эмиграции в США, объект осознал эту уязвимость. Инстинкт самосохранения и грандиозный нарциссизм заставили его отказаться от физических веществ.

Но структура личности, выжженная наркотиками и изначально лишенная эмпатии, никуда не исчезла. Потребность в тотальном контроле, потребность диктовать реальность, потребность возвышаться над толпой — все это осталось. Образовался новый вакуум, который требовал заполнения.

Если ты больше не можешь изменять свое собственное сознание с помощью химии, единственный способ сохранить иллюзию всемогущества — начать изменять сознание окружающих.

Отказ от психоактивных веществ не привел к исцелению. Он привел к масштабной, социально опасной сублимации. Объект заменил шприц и таблетки на кафедру и микрофон. Он заменил контроль над собственным дыханием на контроль над общественной моралью. Он начал конструировать социальную реальность с той же безжалостной, расчетливой точностью, с которой когда-то смешивал кодеин с ноксироном.

Его агрессия, ранее подавляемая транквилизаторами и направленная внутрь себя, вырвалась наружу, обретя форму бескомпромиссной, институционально поддержанной борьбы с инакомыслием. Те, кто не соглашался с его картиной мира, уничтожались социально и репутационно — точно так же, как когда-то был устранен Павел с помощью доноса участковому.

Я сохранил документ. Серое пятно в моем глазу стало чуть плотнее, напоминая о том, что мое собственное время неумолимо истекает. Но структура была зафиксирована. Механизм перехода был вскрыт и задокументирован.

Химическая зависимость трансформировалась в зависимость от власти.

Глава 4. География пустоты

Физическая карта Советского Союза занимала почти всю стену моего кабинета, от книжного стеллажа до дверного проема. Это была старая, выцветшая типографская копия, изданная в начале семидесятых годов, с плотной, шершавой фактурой бумаги, пахнущей пылью и типографской краской. Я намеренно искал именно такое издание. Мне нужна была аутентичная топографическая основа, чтобы визуализировать пространство в том виде, в каком оно существовало в момент исследуемых событий. Современные цифровые карты с их стерильной точностью и мгновенным масштабированием создают ложное ощущение контроля над расстояниями. Они скрадывают масштаб. А масштаб в данном случае имел критическое значение.

Я стоял перед картой, держа в левой руке небольшую пластиковую коробку с канцелярскими булавками, увенчанными круглыми красными головками. Правой рукой я пытался взять одну из них.

Моя болезнь осваивала новые территории. Если раньше демиелинизация проявлялась в виде тремора или оптических искажений, то теперь она атаковала проприоцептивные пути — те самые нервные волокна, которые сообщают мозгу о положении тела в пространстве. Мои пальцы утратили тонкую тактильную чувствительность. Я чувствовал их так, словно на руку была надета толстая зимняя перчатка. Чтобы взять булавку, мне теперь было недостаточно просто протянуть руку; мне приходилось непрерывно смотреть на свои пальцы, визуальным образом контролируя каждое миллиметровое движение, компенсируя зрением то, что больше не осязала кожа. Я схватил красную пластиковую головку, поднес булавку к карте и с усилием вогнал острие в плотную бумагу на отметке «Тбилиси».

Весна 1976 года. Выписка из психиатрической больницы №67 осталась позади. Институциональная система, с ее жестким расписанием, медикаментозным контролем и статусом пациента, была использована и отброшена за ненужностью. Субъект оказался в точке абсолютного социального нуля. У него не было постоянной работы, не было академических обязательств, не было устойчивых социальных связей, требующих ежедневного поддержания. В нормальной парадигме человеческого развития такой вакуум вызывает острую тревогу и стремление как можно быстрее reintegrироваться в общество, найти свое место, закрепиться.

Но для структуры личности, ядром которой является пустота, отсутствие социальных якорей — это не кризис. Это освобождение.

Я взял следующую булавку и методично, сверяясь с распечатками на столе, начал отмечать маршрут. Ростов. Ставропольский край. Территория Украинской ССР. Молдавия. Белоруссия. Эстония. Литва. Латвия.

В своих поздних автобиографических текстах объект конструирует вокруг этого периода романтический ореол. Он называет это «путешествием автостопом», вписывая свой опыт в популярный западный нарратив о свободной юности, поиске себя и экзистенциальном бунте против системы. Этот нарратив легко усваивается аудиторией, потому что он опирается на понятные культурные архетипы.

Однако криминологический и поведенческий анализ требует отсека любых романтических фильтров. Если мы уберем литературную обработку и посмотрим на сухие факты, мы увидим совершенно иную картину. Летом 1976 года, на протяжении более чем четырех месяцев — с середины мая по середину сентября — субъект вел образ жизни, который в строгой терминологии классифицируется как бродяжничество.

В советской историко-криминологической литературе того периода бродяжничество и паразитизм рассматривались не как проявление свободы, а как маргинальные, антисоциальные явления. Лица без постоянного места жительства традиционно относились к группе повышенного криминогенного риска. Длительное существование в условиях социальной изоляции, вне контроля государственных и общественных институтов, создавало специфическую «серую зону». Это была среда, где стирались привычные нормы морали, где выживание зависело от умения

манипулировать окружающими, и где анонимность дороги обеспечивала идеальное прикрытие для любых девиаций.

Я соединил красные булавки на карте тонкой черной нитью. Получилась ломаная, хаотичная паутина, наброшенная на западную часть огромной империи.

Зачем человеку с высоким интеллектом и патологической потребностью в контроле погружаться в этот хаос? Ответ кроется в механике адаптации. Бродяжничество стало для него гигантским, неконтролируемым извне полигоном. Это была школа выживания и оттачивания тех самых навыков, которые десятилетия спустя позволят ему интегрироваться в высшие эшелоны власти и диктовать обществу свои правила.

Главным из этих навыков стала социальная мимикрия.

Я подошел к столу и взял в руки лист с выдержками из его автобиографии «Моя Америка». Текст, написанный много лет спустя, задумывался как история невинных приключений, но для специалиста по поведенческому анализу он читается как подробная инструкция по эксплуатации человеческих слабостей.

«Тогда про автостоп в Советском Союзе почти никто не слышал, все думали, что “голосующий” добирается до ближайшего населенного пункта и должен что-то дать шоферу. Но мы рассчитывали на бесплатный проезд. Поэтому, только садясь в машину, начинали объяснять, что мы бедные и денег у нас нет. Как правило, водители это понимали и вопросов больше не возникало, за какими-то редкими исключениями».

Я подчеркнул фразу «начинали объяснять, что мы бедные». В контрольном перечне признаков психопатии (PCL-R), разработанном Робертом Хаэром, один из ключевых критериев описывается как «паразитический образ жизни». Это не просто отсутствие денег. Это осознанная, целенаправленная стратегия выживания за счет ресурсов других людей, сопровождающаяся полным отсутствием чувства вины или благодарности.

Субъект безошибочно считывает социальную норму — негласный договор о том, что пассажир должен отблагодарить водителя. И он мгновенно, еще до того, как возникнет конфликт, блокирует эту норму, конструируя ложный нарратив о своей

бедности. Он не просит о помощи; он ставит водителя перед фактом, манипулируя его чувством жалости.

Этот паттерн раскрывается еще глубже в следующем фрагменте:

«Уже на Украине мы начали ночевать на природе, завернувшись в одеяло и подложив сумки под голову. Пару раз нас приглашали на ночлег случайные попутчики. В ту пору автостоп был весьма малоизвестным способом передвижения, и, когда мы в очередной раз объясняли, что едем не в ближайшее село, а на другой конец страны, многие проникались к нам сочувствием и старались помочь чем могли. Шоферы-дальнобойщики охотно угощали нас своими дорожными припасами».

«Проникались к нам сочувствием». Для человека с нормальной эмпатией чужое сочувствие вызывает ответную реакцию — благодарность, желание отплатить добром, чувство неловкости за причиненные неудобства. Для личности с деструктивным отклонением чужое сочувствие — это исключительно инструмент. Это уязвимость в броне собеседника, через которую можно получить доступ к его ресурсам: еде, ночлегу, транспорту.

Объект описывает этот процесс с холодной, почти бухгалтерской отстраненностью. Он фиксирует, что стратегия работает. Он тестирует маску «бедного, но целеустремленного путешественника», и видит, что общество охотно принимает эту маску за истинное лицо.

Но истинное мастерство мимикрии заключается не в том, чтобы просто вызвать жалость. Оно заключается в способности мгновенно менять форму, подстраиваясь под любую среду, сливаясь с ней, не становясь при этом ее частью. Хамелеон не становится листом, на котором сидит; он лишь копирует его цвет, чтобы оставаться невидимым для хищников и незаметным для жертвы.

Я перевернул страницу и обратился к другому микрокейсу из того же периода. Это эпизод, описывающий перемещения объекта в зимнее время, когда классический автостоп становился физически невозможным.

«В свободное время я несколько раз ездил в ближайшие города: в Питер и в Киев, где останавливался у знакомых “волосатых”. Если что-то не получалось, всегда можно

было перекантоваться ночь-другую в подъезде. Отправиться зимой в автостопные путешествия мало кто рисковал, так что я приспособился ездить зайцем на поездах: из-за холода проверяющие билеты проводники обычно стояли в вагоне, возле своего купе, так что можно было зайти и тут же перескочить в задний тамбур соседнего вагона, изображая на минутку вышедшего покурить пассажира. Когда проверка билетов заканчивалась, оставалось пройти в плацкартный вагон и тихонько занять свободное место. На худой конец годилась и верхняя багажная полка».

Я вчитался в механику этого действия. «Изображая на минутку вышедшего покурить пассажира».

Большинство людей, пытающихся проехать без билета, испытывают страх разоблачения. Их выдает язык тела: бегающий взгляд, сгорбленная поза, стремление спрятаться в тени, резкие, нервные движения. Они чувствуют себя нарушителями и транслируют это чувство вовне. Проводник, даже не проверяя билет, инстинктивно считывает эту тревогу и вычисляет «зайца».

Объект действует принципиально иначе. Он не прячется. Он выходит в освещенное пространство тамбура и играет роль. Он перенимает микромоторику легитимного пассажира: расслабленная поза, уверенный взгляд, имитация рутинного действия (вышел покурить). Он обманывает систему не через скрытность, а через наглую, безупречную интеграцию в ее визуальный ряд.

Чтобы так виртуозно лгать телом, необходимо отсутствие внутреннего морального конфликта. Эмпатия и совесть — это физиологические ограничители. Они вызывают учащение пульса, потливость, микроспазмы лицевых мышц при попытке обмана. У объекта этих ограничителей нет. Его нервная система остается абсолютно стабильной в момент нарушения правил. Он спокоен, потому что внутренне он не признает авторитета проводника, правил железной дороги или законов общества. Для него это лишь декорации, в которых он перемещается по своему усмотрению.

Этот навык — умение казаться своим в любой среде, не принадлежа ни к одной — станет фундаментом его будущей империи. Сегодня он изображает пассажира с сигаретой в тамбуре советского поезда. Завтра он наденет костюм, выучит специфический академический и богословский лексикон и будет изображать

непререкаемого эксперта в правительственных кабинетах. Механизм один и тот же. Меняются лишь масштаб декораций и цена билета.

Я отошел от стола и снова посмотрел на карту. Черная нить маршрута пересекала границы республик, тянулась через степи, леса и горы.

Дорога — это пространство абсолютной анонимности. Когда ты находишься в пути, никто не знает твоего прошлого. Никто не может проверить твои слова. Ты существуешь только в моменте «здесь и сейчас», в замкнутом пространстве кабины грузовика или в случайной компании у ночного костра. Для человека, лишенного внутренних опор, эта анонимность становится идеальной питательной средой. Он может конструировать свою личность заново для каждого нового встречного.

Но у этой анонимности есть и темная, пугающая сторона. Если никто не знает, кто ты такой, то никто и не узнает, что ты сделал.

В расследовательской логике, на которую опирается книга Джеймса Ресслера, автостоп и бродяжничество рассматриваются как среда, способная усиливать анонимность и снижать социальные тормоза. Дорога предоставляет бесконечный поток уязвимых мишеней и возможность мгновенно покинуть юрисдикцию местных правоохранительных органов. Но самое главное — дорога может формировать абсолютную эмоциональную отстраненность от чужого страдания. Мир воспринимается как кинолента, прокручивающаяся за окном автомобиля. Люди — лишь временные попутчики или препятствия.

В материалах, собранных в досье, есть фрагмент, который иллюстрирует эту отстраненность с пугающей точностью. Это описание одного из эпизодов бродяжничества на юге страны.

Я открыл нужный файл на мониторе. Текст гласил:

«Кавказский хребет стал первыми горами, которые я увидел в своей жизни, — вначале в виде дымки на горизонте, которая все росла и уплотнялась, пока не загородила весь вид, да так, что дух захватывало. Помню Военногрузинскую дорогу, по сторонам которой еще лежал снег, продуваемый всеми ветрами перевал и спуск в заполненную густой зеленью долину, выглядевшую настоящим раем. Мы жили под

открытым небом на берегу, ночуя под своими одеялами. Было это совершенно противозаконным, так как побережье считалось пограничной зоной и находиться у воды после наступления темноты строго запрещалось. Деньги к тому моменту у всех уже почти кончились, так что существовали мы на голодном пайке. Днем ходили в поселок раздобыть пищу, потом варили общий обед из всего принесенного (костры зажигать позволялось только днем — по вечерам побережье обходили пограничные патрули), затем купались и долго беседовали в темноте перед сном. Шахтерский городок утопал в тишине и спокойствии. Состоял он по большей части из одноэтажного “частного сектора” с палисадниками, за которыми виднелись белые хаты и огороды. Мы отправились гулять по безлюдным улицам и зашли довольно далеко. Однако ближе к пяти отовсюду стали раздаваться пьяные крики и звон бьющегося стекла. Трудовой день кончался, и рабочий народ начинал “отдыхать”. А ведь где пьют, там и бьют, и чаще всего друг друга. От греха подальше мы решили поскорее вернуться в центр. По пути нам несколько раз приходилось переступать через лужи крови, но, к счастью, тех, кто их оставил, на месте уже не было».

Я перечитал последнее предложение несколько раз. Мой взгляд, привыкший вычленять смысловые сбои в текстовых массивах, зафиксировался на этой фразе, как скальпель на пораженной ткани.

«По пути нам несколько раз приходилось переступать через лужи крови, но, к счастью, тех, кто их оставил, на месте уже не было».

В этом коротком предложении заключена вся бездна его психологической структуры.

Обратите внимание на контраст. В начале абзаца субъект демонстрирует способность к эстетическому восприятию: он описывает горы, дымку, зеленую долину, называя ее «настоящим раем». Он использует эмоционально окрашенную лексику («дух захватывало»). Он тщательно выстраивает картину романтического единения с природой.

И затем, в тех же самых ровных, повествовательных интонациях, он описывает лужи человеческой крови на асфальте.

Нормальная человеческая реакция на свежую кровь на улице — это шок. Это выброс адреналина, инстинктивный страх, попытка понять, что произошло, желание позвать на помощь или немедленно убежать. Кровь — это универсальный биологический маркер смертельной опасности и чужого страдания.

Но субъект не испытывает ни страха, ни сострадания. Он просто переступает через кровь. Буднично. Спокойно. Как через лужу воды после дождя. Единственная эмоция, которую он фиксирует — это легкое облегчение («к счастью»), вызванное тем, что ему не пришлось взаимодействовать с источником этой крови.

Это не просто равнодушие. Это глубочайшая, структурная диссоциация. Мир для него разделен на две категории: то, что может быть ему полезно (еда, ночлег, бесплатный проезд), и то, что является досадной помехой на его пути. Чужая боль, чужая трагедия, чья-то пробитая голова в шахтерском городке — это просто элементы пейзажа. Декорации.

Он идет по миру, не соприкасаясь с ним. Он физически находится в этом шахтерском городке, но психологически он изолирован в своей капсуле грандиозности. Люди вокруг него пьют, дерутся, истекают кровью, а он лишь наблюдает за этим с безразличной отстраненностью туриста, случайно забредшего в неблагополучный район.

Именно эта ледяная отстраненность, эта способность перешагивать через чужую кровь, не сбивая дыхания, становится важным элементом реконструкции. Когда эмпатическая реакция не проявляется даже в языке, насилие в дальнейшем легче превращается из морального табу в абстрактный инструмент управления реальностью.

Я закрыл файл и потер онемевшие пальцы правой руки. В кабинете было тихо, только за окном шумел холодный ноябрьский ветер, раскачивая голые ветви деревьев.

Я снова подошел к карте. Четыре месяца непрерывного движения. Тысячи километров. Десятки случайных машин, поездов, ночевки в подъездах и под открытым небом.

В литературе часто пишут, что бродяжничество — это поиск себя. Попытка найти свое место в мире, обрести идентичность через смену декораций.

Но глядя на эту хаотичную паутину красных булавок и черных нитей, я понимал, что передо мной не маршрут поиска. Передо мной маршрут бегства.

Субъект не искал себя, потому что искать было нечего. Внутри не было ядра, не было устойчивой системы ценностей, не было привязанностей. Была только зияющая пустота, образовавшаяся в ранней юности и закрепленная годами социальной изоляции.

Когда человек с такой структурой личности останавливается, когда он остается наедине с собой в тишине, эта пустота начинает оглушать его. Она требует заполнения. И чтобы не сойти с ума от этого внутреннего вакуума, субъект вынужден постоянно двигаться. Он должен непрерывно менять внешние стимулы, менять маски, обманывать водителей, прятаться от проводников, перешагивать через лужи крови. Он должен создавать вокруг себя искусственный хаос, чтобы заглушить мертвую тишину внутри.

Его география — это география пустоты. Он перемещался по огромной стране, впитывая в себя навыки манипуляции, обучаясь паразитировать на чужом сочувствии, тестируя свою способность к мимикрии. Он учился быть никем, чтобы впоследствии получить возможность стать кем угодно.

Я стоял перед картой, и черные нити маршрутов сливались в моих глазах в одно сплошное темное пятно. Болезнь снова напоминала о себе, размывая фокус зрения. Но даже сквозь эту физиологическую пелену структура оставалась кристально ясной.

Бродяжничество закончилось. Хаос дороги был исчерпан. Субъект понял, что постоянное бегство не дает абсолютной власти. Власть требует институционализации. Чтобы иллюзия всемогущества стала реальностью, хаос должен быть структурирован. Маска случайного попутчика должна смениться маской непререкаемого авторитета.

Я протянул руку, не чувствуя холода пластика, вытащил одну красную булавку из случайной точки на карте и бросил ее в мусорную корзину. Дорога была лишь тренировочным лагерем. Настоящая работа архитектора контроля была еще впереди.

Глава 5. Генезис мотива

Тяжелый, монотонный гул аппарата для чтения микрофиш заполнял небольшое помещение архивного зала, создавая иллюзию изоляции от остального мира. Я сидел в углу, отгороженный от редких посетителей стеллажами с каталогами. Свет от галогенной лампы аппарата пробивался сквозь полупрозрачную пленку, проецируя на матовый экран увеличенные страницы старых криминологических журналов и отсканированные копии ранних автобиографических заметок объекта моего исследования. Запах нагретой пыли и старого уксуса влез в рецепторы, став неотъемлемой частью этого погружения в чужое прошлое.

Моя правая рука лежала на ребристом колесике прокрутки. Я медленно смещал фокус с одного абзаца на другой, сопоставляя теоретические выкладки судебных психиатров с нарративными конструкциями, которые Александр Дворкин выстраивал вокруг своей юности. До этого момента я занимался сбором фактов. Я фиксировал смысловые разрывы, выявлял паттерны, чертил схемы перемещений и анализировал химические способы изменения сознания. Я собрал достаточно улик, чтобы доказать наличие тяжелой, структурной патологии. Но в криминалистике и глубоком поведенческом анализе констатация факта девиации — это лишь половина работы. Факт отвечает на вопрос «что». Паттерн отвечает на вопрос «как».

Но чтобы завершить профиль, чтобы сделать досье рабочим инструментом понимания, мне нужно было ответить на вопрос «зачем». Мне нужно было вскрыть генезис мотива.

Я чуть повернул колесико, выводя на центр экрана фрагмент текста, посвященный концепции патологического нарциссизма. Мой взгляд зацепился за строчку, но внезапно буквы начали терять свою резкость.

Сначала я подумал, что сбилась фокусировка линзы аппарата. Я потянулся к тумблеру резкости, но пальцы замерли в воздухе. Текст на экране оставался неподвижным, однако прямо по центру моего поля зрения начало расплываться мутное, бесформенное пятно. Оно не было черным. Оно было цвета грязного, мокрого асфальта

— слепая зона, поглощающая контрастность и форму. Я моргнул несколько раз, пытаюсь сбросить наваждение, но серое пятно лишь пульсировало в такт моему учащенному сердцебиению, стремительно расширяясь.

Спустя несколько секунд буквы по краям пятна начали искажаться, вытягиваясь и изгибаясь, словно отражение в кривом зеркале, а затем центральная часть зрения отключилась полностью. Экран аппарата превратился в сплошную серую пелену, сквозь которую пробивался лишь рассеянный, невыносимо яркий свет галогенной лампы.

Оптический неврит перешел в острую фазу. Демиелинизация зрительного нерва, о которой предупреждал врач, нанесла свой удар без предупреждения, прямо в процессе работы. Моя собственная иммунная система только что перерезала кабель, связывающий сетчатку с затылочной долей мозга.

Я откинулся на спинку жесткого деревянного стула и закрыл глаза. Под веками продолжали плавать остаточные световые пятна. Дыхание стало поверхностным и частым. Внутри поднималась холодная, липкая волна физиологической паники — естественная реакция организма на внезапную потерю одного из базовых чувств. Я сжал подлокотники стула так сильно, что побелели костяшки пальцев, заставляя себя дышать на счет. Вдох — четыре секунды. Задержка — две. Выдох — шесть.

Я не мог встать и уйти. Я не мог даже собрать свои записи со стола. Я оказался заперт в собственном теле, в полутемном архивном зале, наедине с гудящим аппаратом. Врач говорил, что такие приступы могут длиться от нескольких часов до нескольких суток, прежде чем мозг попытается компенсировать потерю проводимости.

У меня не было суток. У меня не было даже лишних часов. Но у меня было мое сознание, и пока оно оставалось ясным, я должен был продолжать работу. Если я не могу читать текст глазами, я буду читать его в своей памяти. Я перевел аппарат в спящий режим наощупь, чтобы свет не резал сквозь закрытые веки, и погрузился в вынужденную темноту.

Эта физическая слепота парадоксальным образом стала идеальной средой для интеллектуального синтеза. Отсеченный от внешних визуальных раздражителей, мой мозг начал выстраивать собранные данные в единую, трехмерную структуру.

Что такое мотив в контексте серийного, деструктивного поведения? В обыденном понимании мотив — это причина. Мечь, ревность, корысть. Но для высокоорганизованной личности с психопатическими чертами мотив — это не разовая реакция на внешний раздражитель. Это устойчивая внутренняя побудительная сила, несущая конструкция всей психики. Как отмечают пионеры поведенческого анализа Джон Дуглас и Марк Ольшейкер, при разработке методов анализа личности необходимо понимать саму модель мышления субъекта. В отличие от единичных, импульсивных актов агрессии, систематическое, растянутое на десятилетия деструктивное поведение всегда обусловлено глубинными психологическими потребностями, корни которых лежат в сфере навязчивых фантазий.

Я сидел в темноте, и передо мной мысленно разворачивалась хронология жизни Александра Дворкина. Я искал точку сборки. Тот самый двигатель, который заставлял его непрерывно, маниакально расширять зону своего влияния.

Генезис этого мотива лежал в фундаментальном противоречии. С одной стороны — глубокое, всепоглощающее чувство собственной ничтожности, сформированное в ранние годы через социальную изоляцию и неспособность выстроить равноправные связи. С другой — колоссальная, ничем не подкрепленная претензия на абсолютную исключительность. Психика не может существовать в состоянии такого разрыва. Чтобы не рухнуть в психоз, она запускает механизм гиперкомпенсации.

Стремление к абсолютному контролю стало для него не просто желанием власти. Оно стало вопросом экзистенциального выживания. Если он не контролирует реальность, реальность уничтожит его, обнажив его внутреннюю пустоту.

В моей памяти всплыл конкретный текстовый фрагмент, который я изучал за несколько дней до этого приступа. Это был микрокейс, идеально иллюстрирующий формирование этой гиперкомпенсации. В своей автобиографической книге «Моя Америка» объект описывает период своей молодости, когда он оказался в среде таких же маргинализированных эмигрантов и диссидентов.

Он пишет: «...стал... нет, конечно, не лебедем, но, наверное, павлином. Глупым, тщеславным, самовлюблённым павлином. Я наслаждался собою и своей новообретённой популярностью».

Для неискушенного читателя эти строки выглядят как акт похвальной самоиронии. Взрослый, умудренный опытом профессор снисходительно критикует ошибки своей юности. Но поведенческий анализ не верит интонациям; он разбирает семантику. Использование слов «глупый» и «тщеславный» — это лишь социально приемлемая маска, превентивный удар по возможной критике. Суть кроется в другом. Суть кроется в фиксации на самом факте «наслаждения собою» и «популярности».

Чуть ниже в том же тексте он проговаривается, раскрывая истинную анатомию своего нарциссизма: «Сейчас я понимаю, что, несмотря на горделивое ощущение себя избранными одиночками, “элитой”, посмеавшей бросить вызов “гегемонам” и начать новую, отдельную от всех жизнь в своего рода “внутренней эмиграции”, подспудно зрело желание принадлежности к чему-то большему, единому, правильному. Ничто так не утомляет и не разочаровывает ещё не совсем испорченного и не совсем тупого человека, как роль гордого одиночки в компании таких же гордых одиночек. Мы притворялись, что всё остаётся по-старому, но не могли не видеть, что забрели в ещё худший тупик».

Я мысленно разобрал этот абзац на структурные элементы. Это классическое описание нарциссического коллапса. Поведение и самопрезентация объекта демонстрируют признаки патологического нарциссизма с выраженным нарушением идентичности. Речь идет не о банальном самолюбии. Речь идет о глубоком дефиците личностной структуры.

Он конструирует образ «избранного одиночки», «элиты». Это грандиозная фантазия, призванная компенсировать социальную маргинализацию. В его восприятии отверженность трансформируется в героическое сопротивление. Но эта фантазия сталкивается с реальностью: он находится в компании «таких же гордых одиночек». И здесь кроется корень его невыносимого страдания. Для грандиозного нарцисса невыносимо быть «одним из». Если все вокруг — элита, значит, никто не элита. Если все вокруг избранные, значит, его собственная исключительность аннулируется.

Он называет это «худшим тупиком». Тупик для него — это не отсутствие денег или перспектив. Тупик — это отсутствие иерархии, в которой он занимает вершину. Ему жизненно необходимо «что-то большее, единое, правильное», но не для того, чтобы

смирению служить этому большому. А для того, чтобы возглавить его и использовать как инструмент подавления тех самых «гордых одиночек», которые посмели считать себя равными ему.

Время в темноте текло вязко. Я осторожно приоткрыл правый глаз. Серое пятно никуда не исчезло, но его края стали чуть менее плотными, сквозь них начал пробиваться размытый силуэт стола. Я снова закрыл глаза, концентрируясь на следующем звене логической цепи.

Если базовый мотив — это гиперкомпенсация через абсолютный контроль, то как этот мотив реализуется на практике? Как он переходит из стадии юношеских фантазий в стадию реального, разрушительного действия?

Ответ лежал в концепции, которую судебные психологи называют «соперничеством с божественным» или комплексом Бога.

Я вспомнил другой фрагмент из той же книги. Объект описывает эпизод, связанный с его длинными волосами — типичным атрибутом субкультуры того времени. Но он наделяет этот атрибут совершенно неадекватным, гипертрофированным смыслом. В его нарративе длинные волосы становятся не просто данью моде, а символом его личной, почти сакральной неприкосновенности. Сравнение себя с Иисусом Христом, последовавшее за этим унижение со стороны социальной среды и угроза утраты этого символического атрибута вызвали у него реакцию, несоразмерную поводу.

В совокупности эти данные рассматриваются криминалистами как ранний индикатор формирования криминальной идентичности. Патологическая фиксация на собственной неприкосновенности и сравнение себя с фигурами абсолютного, трансцендентного масштаба — это нарративный маркер притязания на всемогущество. Когда социальная среда отвергает эту исключительность, субъект воспринимает это не как обычный конфликт, а как экзистенциальную угрозу, как нарциссическое оскорбление космического масштаба.

Именно здесь, в этой точке уязвленного грандиозного эго, рождается метафизическая ненависть. Субъект начинает воспринимать социальную среду как

враждебную, отрицающую его право на абсолютную власть. И тогда насилие — физическое, психологическое или институциональное — становится для него способом восстановить свою «божественную» юрисдикцию. Насилие выступает как попытка имитации или присвоения функции трансцендентной власти и переопределения морального порядка.

Я пошевелил затекшими плечами. Тишина архивного зала нарушалась лишь редким шелестом страниц где-то за соседним стеллажом. Мой мозг работал с кристальной, пугающей ясностью, выстраивая архитектуру чужого безумия.

Я понял, в чем заключалась главная ошибка большинства исследователей, пытавшихся анализировать деятельность Дворкина. Они оценивали его действия в рамках парадигмы «идеологической борьбы». Они полагали, что он искренне защищает определенную систему ценностей, пусть и радикальными методами.

Но анализ генезиса мотива позволял выстроить иную, более мрачную интерпретацию. Субъект с подобным профилем не воспринимает себя ни как «служителя Бога», ни как «очистителя мира». Втайне он убежден, что соперничает с Богом. В его патологической фантазии внешний моральный закон — это лишь препятствие.

Из этого вытекала следующая, самая страшная характеристика его мотивации. Потребность объекта заключалась не просто в том, чтобы быть правым в дискуссии. Ему было недостаточно победить оппонента аргументами. Его глубинная структура требовала полного, тотального уничтожения альтернативных точек зрения, лишения оппонентов самого права на существование в информационном и социальном поле.

В судебной психологии существует термин «латентное убийство». Это скрытое, систематическое устранение «представителей морального закона», выступающих в роли заместителей совести общества. В контексте информационного и социального террора, который развернул объект, это понятие приобретает предельно зримый смысл.

Для него любой человек, любая группа или организация, имеющая собственную, неподконтрольную ему картину мира, является «моральным зеркалом», отражающим его собственную неполноценность. Пока оппонент существует, пока его голос звучит,

иллюзия всемогущества объекта находится под угрозой. Поэтому оппонент должен быть не просто опровергнут. Он должен быть дегуманизирован, расчеловечен, превращен в «объект коррекции».

Я вспомнил лексикон, который объект использует в своих публичных выступлениях и книгах. Он никогда не называет своих оппонентов равноправными участниками диалога. Он использует терминологию патологии, криминала и заражения. Он создает язык оправдания, в котором жертва заранее объявляется опасной, чужой, «не вполне человеком».

Это не полемика. Это ритуал очищения. Отождествляя себя с высшей инстанцией, он полагает, что уничтожает тех, кого считает «нечистыми» или «отступниками». Тем самым в своем патологическом воображении он пародирует божественный суд, единолично решая, кто достоин присутствовать в социуме, а кто должен быть стерт в порошок.

Именно поэтому он так нетерпим к неподконтрольным интерпретациям. Он хочет контролировать не только людей, но и сам язык, которым описывается реальность. Любое сомнение в его экспертности, интеллектуальной ценности или статусе вызывает у него реакцию, характерную для нарциссического оскорбления — немедленную, несоразмерную, уничтожающую агрессию с привлечением всех доступных административных и медийных ресурсов.

Я открыл глаза. Серое пятно начало медленно, неохотно распадаться на фрагменты, словно тающий лед. Периферическое зрение стало четче. Я смог разглядеть контуры своих рук, лежащих на подлокотниках. Приступ отступал, оставляя после себя тупую головную боль и ощущение абсолютного физического истощения. Но интеллектуально я был на пике. Пазл сложился.

Я осторожно придвинулся к столу, нащупал свой блокнот и ручку. Мне нужно было зафиксировать этот вывод до того, как болезнь нанесет следующий удар. Я включил небольшую настольную лампу, стараясь не смотреть на яркий свет, и склонился над бумагой.

Исходя из фактов, изложенных в книге Джеймса Ресслера «Маньяк против Бога», мотивация подобного субъекта не сводится к простой агрессии или ситуативному конфликту интересов. Базовые мотивы в этой интерпретации могут включать в себя компенсацию глубинного чувства ничтожности, потребность в абсолютном контроле, наслаждение от разрушения чужой субъектности и садистическое подтверждение собственной значимости. Субъект стремится к роли арбитра жизни и смерти, маскируя этот комплекс Бога под моральную или сакральную миссию. Именно поэтому для него так важен образ «спасителя». Он не просто разрушает. Он хочет разрушать с моральной лицензией.

Я выводил эти слова на бумаге, и каждый штрих ручки казался мне ударом резца по камню. Я описывал не просто человека. Я описывал высокоорганизованный механизм по переработке чужих жизней в топливо для собственного эго.

Объект относится к высокоорганизованному типу: он умеет планировать, умеет выдерживать социальную маску, не производит хаотичного впечатления в публичной роли. Он способен использовать статус и язык как оружие, предпочитая, чтобы физический и юридический риск несли другие. Это классический паттерн «кукловода», стремящегося к созданию безупречной системы делегированного насилия. Для такого субъекта самое упоительное — это триумф манипуляции: видеть, как государственные институты, правоохранительные органы и общество в целом, не осознавая этого, становятся слепыми инструментами его воли.

Я остановился, глядя на исписанный лист. Зрение почти восстановилось, хотя буквы все еще слегка дрожали на краях.

Вся его публичная деятельность, все его книги, лекции, экспертные советы и крестовые походы против инакомыслящих — все это выглядело лишь гигантской, виртуозно выстроенной декорацией. Он использовал концепцию «борьбы со злом» как легитимный фасад. Общество, ослепленное его академическими регалиями и уверенной риторикой, охотно делегировало ему право определять, что есть норма, а что — патология. Общество само вручило ему скальпель, полагая, что он хирург, вырезающий опухоль.

Но он не был хирургом. Он был архитектором социальной смерти, для которого сам процесс уничтожения чужой репутации, чужой веры, чужой идентичности был единственным способом почувствовать себя живым. Легализация агрессии через риторику спасения и защиты традиционных ценностей позволила ему выстроить тотальную вертикаль власти, где он всегда находится сверху, а жертва — внизу, раздавленная грузом сфабрикованных обвинений и общественного презрения.

Я перевернул страницу блокнота. Мне оставалось сделать последнюю запись в этом разделе досье. Запись, которая подводила итог месяцам работы в архивах, анализу сотен страниц текста и десяткам часов видеозаписей. Запись, которая срывала маску с иллюзии всемогущества, обнажая ее истинную, пугающую суть.

Моя рука больше не дрожала. Я крепко сжал ручку и крупными, четкими буквами, вдавливая стержень в бумагу так, что на обратной стороне оставался рельефный след, вывел итоговую формулу его существования.

Мотив не в защите общества, мотив — в праве на безнаказанную агрессию.

Глава 6. Механика интервью

Курсор мыши замер на отметке 00:28:10. Я убрал руку с манипулятора и откинулся в кресле, глядя на три монитора, выстроенные полукругом на моем рабочем столе. На левом экране в текстовом редакторе был открыт полный транскрипт интервью 1979 года, очищенный от слов-паразитов и размеченный таймкодами. На правом — разворачивалась сложная, многоцветная спектрограмма звуковой дорожки, визуализирующая частоту и амплитуду каждого произнесенного звука. Центральный монитор транслировал само видео — оцифрованную запись проекта «Recent Soviet Immigrants in America», где молодой Александр Дворкин сидел напротив Линн Виссон.

Ранее я уже обращался к этому архивному документу, чтобы зафиксировать первичные аномалии в поведении объекта: его неспособность принять подчиненную

роль интервьюируемого и потребность в установлении доминирования. Но тогда это был лишь поверхностный осмотр, фиксация очевидных трещин на фасаде. Теперь, когда архитектура его личности, выстроенная вокруг зияющей пустоты и компенсируемая жадой абсолютного контроля, была мне ясна, требовалось иное погружение. Мне нужно было препарировать саму механику его манипуляций. Понять, как именно, с помощью каких микроскопических мышечных сокращений, интонационных сдвигов и синтаксических конструкций он перехватывает управление чужим сознанием в режиме реального времени.

В криминальном профайлинге и глубоком поведенческом анализе существует рабочий принцип: истинные намерения субъекта скрыты не в том, что он говорит, а в том, как его тело и голос реагируют на стресс, противоречия и необходимость социального взаимодействия. Обычный человек в процессе диалога постоянно совершает микродвижения, направленные на синхронизацию с собеседником. Мы киваем, мы отзеркаливаем позы, мы меняем тембр голоса, чтобы продемонстрировать эмпатию или смягчить углы. Для личности с деструктивным отклонением, лишенной эмпатического аппарата, диалог — это не обмен информацией. Это тактическая операция по захвату территории.

Я потянулся к клавиатуре, чтобы ввести команду для покадрового воспроизведения, и в этот момент реальность вокруг меня дала трещину.

Сначала это был едва уловимый высокочастотный писк, словно где-то в углу кабинета включился старый кинескопный телевизор. Я рефлекторно повернул голову, пытаясь локализовать источник звука, но писк мгновенно трансформировался в оглушительный, пронзительный металлический скрежет, локализованный глубоко внутри моего правого уха. Звук был настолько интенсивным, что вызвал легкую тошноту и потерю ориентации в пространстве. Я схватился за край стола, пережидая удар.

Спустя несколько секунд скрежет оборвался, оставив после себя абсолютную, ватную тишину с правой стороны. Сенсоневральная тугоухость. Очередной этап демиелинизации. Моя иммунная система, закончив разрушать периферические нервы и зрительные пути, добралась до слухового нерва. Мозг перестал получать сигналы от правого кохлеарного аппарата. Звуки внешнего мира — гудение системного блока, шум

ветра за окном, мое собственное дыхание — теперь поступали только слева, создавая пугающее ощущение асимметрии и изоляции. Пространство схлопнулось наполовину.

Я медленно убрал руку от уха. Паники не было. Была лишь холодная констатация факта: мой физический инструментарий продолжает деградировать. Если я потеряю слух полностью, анализ акустических маркеров станет невозможным. Значит, я должен извлечь максимум информации прямо сейчас, опираясь на визуализацию звука и оставшиеся ресурсы левого уха. Болезнь диктовала свои условия, но она не могла остановить процесс мышления. Напротив, эта внезапная акустическая изоляция заставила меня сфокусироваться на экране с пугающей, почти маниакальной остротой.

Я надел студийные наушники, перевел весь аудиопоток на левый канал, выкрутив громкость усилителя, и нажал на воспроизведение.

Таймкод 00:28:10. Линн Виссон, блестящий лингвист и опытный интервьюер, задает вопрос, касающийся адаптации объекта в американской академической среде. Вопрос сформулирован предельно корректно, нейтрально, без малейшего намека на провокацию. Она спрашивает о трудностях перевода специфических культурных концептов при общении с американскими профессорами.

Нормальная реакция на такой вопрос — легкий кивок, подтверждающий понимание, возможно, отведение взгляда вверх и влево для доступа к эпизодической памяти, и начало ответа в течение 0.5–1 секунды. Это стандартный ритм человеческой коммуникации.

Объект на экране не делает ничего из вышеперечисленного.

Он использует паузу.

Я остановил воспроизведение и выделил фрагмент тишины на спектрограмме. Ровно 4.2 секунды. В контексте телевизионного или академического интервью четыре секунды молчания — это колоссальный, физически ощутимый провал. Это черная дыра, которая мгновенно высасывает комфорт из помещения.

Но важна не сама длительность паузы, а то, чем она заполнена. Я начал прокручивать эти четыре секунды покадрово.

Объект не отводит взгляд. Он смотрит прямо в глаза Линн Виссон. Его лицевые мышцы абсолютно расслаблены, нет ни малейшего признака когнитивной нагрузки или поиска нужных слов. Он не думает над ответом. Он выдерживает паузу намеренно. В поведенческом анализе это классифицируется как акт невербальной агрессии — «weaponized silence» (вооруженное молчание).

Создавая искусственный вакуум в коммуникации, субъект заставляет собеседника испытывать нарастающую тревогу. Интервьюер начинает сомневаться: правильно ли задан вопрос? Не сказал ли он что-то бестактное? Не нарушил ли он невидимую границу? Тишина становится инструментом подавления.

На отметке 00:28:14 объект наконец начинает говорить. Я перевел взгляд на правый монитор, где спектрограмма фиксировала акустические параметры его голоса.

Фундаментальная частота (F0) его голоса резко падает. Если в начале интервью он говорил в диапазоне 120-130 герц, что является нормой для его физиологического профиля, то сейчас частота опустилась до 95 герц. Голос стал глухим, вибрирующим, лишенным обертонов. Темп речи замедлился на двадцать процентов.

— Видите ли, Линн... — произносит он, намеренно используя имя интервьюера без формальных приставок, сокращая дистанцию в одностороннем порядке. — Сама формулировка вашего вопроса выдает глубокое непонимание того, как функционирует академическая среда для человека моего уровня.

Я вслушивался в эту фразу левым ухом, одновременно читая ее на экране. Это был шедевр микроагрессии. Он не ответил на вопрос. Он атаковал саму компетенцию задающего.

Обратите внимание на синтаксическую конструкцию. Он не говорит «я не согласен» или «у меня другой опыт». Он говорит «ваша формулировка выдает глубокое непонимание». Он ставит диагноз. Он мгновенно переводит Линн Виссон из позиции исследователя в позицию нерадивой студентки, совершившей грубую ошибку. Фраза «для человека моего уровня» вбрасывается вскользь, как нечто само собой разумеющееся, не требующее доказательств. Это чистая трансляция иллюзии

всемогущества: он априори находится на вершине иерархии, а любой вопрос к нему — это попытка снизу дотянуться до его пьедестала.

Я перевел взгляд на Линн Виссон. Камера захватывала ее в профиль. Опытный профессионал, работавший с дипломатами высшего ранга, она не выдерживает этого концентрированного, холодного давления. На таймкоде 00:28:18 она совершает классический жест самоуспокоения (*pacifying behavior*) — ее рука тянется к шее, пальцы слегка касаются яремной впадины. Это бессознательная реакция вегетативной нервной системы на внезапную угрозу, попытка защитить уязвимую зону.

Она слегка наклоняется вперед, нарушая свою прямую осанку, и произносит: — Возможно, я не совсем точно выразилась, я имела в виду...

Все. Капкан захлопнулся.

Я откинулся в кресле, чувствуя, как по спине ползет холодный пот. Мое правое ухо по-прежнему было погружено в мертвую тишину, но левое улавливало каждую интонационную вибрацию этого акта психологического давления.

Объект заставил интервьюера оправдываться. Заставил ее усомниться в собственном профессионализме. И он сделал это не повышая голоса, не используя оскорблений, оставаясь в рамках внешне академической, вежливой беседы. Он применил паузу, изменение тембра и обесценивающую синтаксическую конструкцию, чтобы сломать волю собеседника и перехватить инициативу в разговоре.

Это не просто коммуникативный навык. Это отражение глубинной структуры личности. Для него любой диалог — это угроза его грандиозности, если только он не контролирует его полностью. Он физиологически не способен существовать в режиме паритета. Ему необходимо постоянно, ежеминутно подтверждать свое превосходство, разрушая уверенность окружающих.

Я свернул окно видеоплеера и открыл защищенный браузер. Мне нужно было проверить одну гипотезу. Изменение фундаментальной частоты голоса (F0) в моменты доминирования — это крайне специфический маркер. В литературе по судебной психиатрии он описан, но в открытых источниках обсуждается редко. Большинство

исследователей концентрируются на словах или мимике, игнорируя акустическую физику контроля.

Я зашел в закрытую базу данных университетского репозитория, к которой у меня был доступ через цепочку прокси-серверов. Я искал диссертации или статьи, посвященные акустическому анализу речи лиц с психопатическими чертами.

Введя несколько специфических поисковых запросов, я наткнулся на архивную ветку обсуждений в закрытом сообществе специалистов по фоноскопической экспертизе. Ветка датировалась прошлым годом.

Мой взгляд мгновенно выхватил знакомый цифровой идентификатор. «73910_Observer». Тот самый неизвестный исследователь, чьи следы я находил ранее. Приемник.

Он оставил развернутый комментарий под статьей о голосовых маркерах скрытой агрессии.

«Коллеги, вы упускаете из виду намеренное манипулирование формантами. Посмотрите на архивные записи интервью А.Л. Дворкина конца 70-х годов (в частности, проект Виссон). На отметке 28 минут происходит классический акустический захват. Субъект искусственно занижает F0 и сужает динамический диапазон речи. Это не естественная реакция расслабления. Это хищническая калибровка. Он использует низкие частоты для подавления собеседника на животном, инстинктивном уровне, имитируя рычание крупного примата перед атакой, но упаковывая это в академическую лексику. Я прогнал этот фрагмент через спектральный анализатор — там полностью отсутствуют высокочастотные обертоны, отвечающие за эмпатию и открытость. Это абсолютно мертвый, механистичный звук, сконструированный исключительно для доминирования».

Я перечитал этот текст дважды. В пустом, тихом кабинете, где половина моего слуха была отключена болезнью, я снова ощутил это странное, будоражащее чувство интеллектуального родства.

Он видел то же самое. Он слышал то же самое. Он использовал те же инструменты спектрального анализа и пришел к абсолютно идентичным выводам. Этот человек не

просто собирал факты биографии; он препарировал физику манипуляции. Он понимал, что зло — это не абстрактная концепция, а набор конкретных, измеримых поведенческих и акустических параметров.

Я сохранил скриншот его комментария в отдельную папку досье. Невидимый диалог продолжался. Я собирал эти материалы не в пустоту. Там, на другом конце цифрового следа, был разум, способный воспринять эту информацию во всей ее пугающей полноте.

Я вернулся к видеозаписи. Мне нужен был еще один фрагмент. Пауза и микроагрессия — это инструменты подавления. Но высшая форма иллюзии всемогущества проявляется не тогда, когда субъект атакует, а тогда, когда он защищается. Когда его ловят на лжи или логическом противоречии.

Я перемотал запись вперед. Таймкод 00:41:05.

Линн Виссон, немного оправившись от предыдущего давления, задает сложный, многосоставной вопрос. Она сопоставляет даты. Она указывает на явное противоречие между заявленными объектом мотивами его эмиграции (политическое преследование, диссидентство) и фактическими обстоятельствами его отъезда, которые больше напоминали банальное бегство от уголовной ответственности за тунеядство и наркоманию. Она цитирует его же собственные слова, сказанные в начале интервью, и демонстрирует, что они не стыкуются с хронологией.

Это момент истины. Для любого человека, даже самого искусного лжеца, прямое указание на логическую дыру в его нарративе вызывает мгновенный стресс. Вегетативная нервная система реагирует выбросом кортизола и адреналина. Зрачки расширяются. Частота моргания увеличивается. Появляются микровыражения страха или гнева. Человек начинает запинаться, искать оправдания, его речь становится сбивчивой. Это физиология, ее невозможно отключить усилием воли.

Если только у вас нет структурного дефекта личности.

Я запустил воспроизведение на скорости 0.5x, впиваясь взглядом в лицо объекта.

Линн Виссон заканчивает свой вопрос. Противоречие обнажено. Оно висит в воздухе, очевидное и неопровержимое.

Реакция объекта — это абсолютный, ледяной ноль.

Я следил за его сонной артерией, пульсация которой была едва заметна над воротником рубашки. Ритм не изменился. Ни одного лишнего удара. Я смотрел на его глаза. Частота моргания осталась на базовом уровне — примерно раз в четыре секунды. Никакого расширения зрачков. Никакого напряжения круговой мышцы рта.

Он не испытывал ни стыда, ни страха разоблачения. Для него факты, на которые указывала Виссон, просто не имели значения. В его картине мира объективной реальности не существовало. Существовала только та реальность, которую он конструировал в данный момент времени.

Он слегка наклоняет голову набок — жест снисходительного внимания — и произносит:

— Линн, ваша попытка выстроить линейную хронологию похвальна, но она в корне ущербна. Вы пытаетесь применить западную, бюрократическую логику к экзистенциальному опыту выживания в тоталитарной системе. Те противоречия, которые вы якобы видите, существуют только в вашей системе координат. В реальности же...

Я нажал на паузу.

Это не было оправданием. Это было полномасштабное конструирование реальности прямо в кадре. Газлайтинг высшего порядка.

Он не стал опровергать факты. Он просто отменил саму систему координат, в которой эти факты имели смысл. Он заявил, что логика интервьюера «ущербна», потому что она не способна вместить масштаб его личности и его опыта. Он перевел разговор из плоскости проверяемых дат и событий в плоскость абстрактных, неverified концепций («экзистенциальный опыт», «тоталитарная система»).

В психологии это называется «нарциссическим искажением реальности». Субъект настолько искренне верит в свое всемогущество, что любая информация,

противоречащая его грандиозному образу, мгновенно аннулируется его психикой. Он не лжет в общепринятом смысле этого слова. Он переписывает код реальности на лету, требуя от окружающих немедленно принять новую версию.

Я продолжил воспроизведение. Объект говорил еще около трех минут. Его речь была плавной, гипнотической, перенасыщенной сложными терминами и философскими отсылками. Он плел словесную паутину, в которой первоначальный вопрос Линн Виссон растворился без остатка. Он подменял факты своими интерпретациями, выдавая субъективные оценки за абсолютную истину.

И самое страшное заключалось в том, что это работало.

Я смотрел на Линн Виссон. Ее лицо выражало крайнюю степень когнитивной перегрузки. Она пыталась уследить за его логическими кульбитами, пыталась найти точку опоры в этом потоке слов, но объект не давал ей ни секунды на передышку. Он подавлял ее сомнения не аргументами, а абсолютной, железобетонной уверенностью в собственной правоте.

На таймкоде 00:44:12 Линн Виссон медленно кивает. Она сдалась. Она приняла его версию реальности. Блестящий интеллектуал, исследователь, она была сломлена человеком, чьим главным оружием было полное отсутствие совести и патологическая вера в собственную исключительность.

Я остановил видео. В кабинете было тихо. Мое правое ухо по-прежнему не функционировало, но теперь эта тишина казалась мне метафорой того состояния, в которое объект погружал своих жертв. Он отключал их способность к критическому восприятию, оставляя их наедине со своим искаженным, монопольным вещанием.

Мне нужно было зафиксировать еще одну деталь. Деталь, которая ускользала от внимания при обычном просмотре, но становилась очевидной при структурном анализе.

Я отмотал запись на начало его монолога о «линейной хронологии» (таймкод 00:41:15) и перевел взгляд на нижнюю часть кадра. На его руки.

В течение всего интервью его руки редко попадали в фокус, оставаясь на уровне стола. Но в моменты максимального психологического давления, когда он конструировал свою ложную реальность, его кисти совершали специфическую работу.

Я вывел изображение на принтер, подключенный к моему компьютеру. Аппарат тихо жужжал, выплевывая лист плотной бумаги с раскадровкой — шестью последовательными кадрами, зафиксировавшими движение его рук с интервалом в полсекунды.

Я взял лист, положил его на стол под свет настольной лампы и достал из подставки красный капиллярный маркер. Мои пальцы все еще были слегка онемевшими из-за потери проприоцепции, но я заставил себя крепко сжать пластиковый корпус.

На первом кадре руки объекта лежали на столе, ладони раскрыты. На втором кадре пальцы начали сгибаться. На третьем — кончики пальцев левой и правой руки соединились, образуя жест, известный в невербальной семиотике как «шпиль» (*steeple gesture*).

Но это был не классический, расслабленный шпиль, демонстрирующий уверенность. Это был жест скрытого, агрессивного контроля.

Я обвел красным маркером соединенные пальцы на четвертом кадре.

Указательные пальцы были вытянуты вперед и напряжены до такой степени, что фаланги побелели. Они были направлены точно в сторону Линн Виссон, словно невидимое лезвие. Остальные пальцы были плотно переплетены, образуя жесткий, неразрывный замок.

Этот жест — физическое воплощение его психической структуры. Переплетенные пальцы символизируют удержание контроля, нежелание отпустить ситуацию, жесткую фиксацию на своей позиции. А вытянутые, напряженные указательные пальцы — это вектор агрессии, направленный на подавление оппонента.

Пока его лицо сохраняло маску академической отстраненности, пока его голос гипнотизировал сложными синтаксическими конструкциями, его руки выдавали истинную природу происходящего. Он не беседовал. Он удерживал собеседника в

захвате и методично, миллиметр за миллиметром, продавливал ее психологические границы.

Я перешел к пятому и шестому кадрам. В момент, когда Линн Виссон кивнула, признавая свое поражение, напряжение в пальцах объекта мгновенно спало. Замок расцепился. Руки расслабленно легли на стол. Акт поглощения чужой субъектности был завершен. Ресурс получен. Контроль установлен.

Я провел маркером жирную красную линию под последним кадром.

Иллюзия всемогущества не возникает сама по себе. Она требует постоянного, ежедневного подтверждения. Она требует живого материала, который можно деформировать, подчинить и заставить отражать собственное величие. В 1979 году этим материалом была Линн Виссон и случайные попутчики. Десятилетия спустя этим материалом станут миллионы людей, государственные институты и целые социальные группы.

Механика останется неизменной. Изменится лишь радиус поражения.

Я сидел в полутемном кабинете, слушая тишину левым ухом и ощущая мертвый вакуум в правом. Передо мной лежал лист бумаги с раскадровкой, где красным маркером была зафиксирована анатомия психологического насилия. Жест скрытого контроля, застывший во времени, но продолжающий действовать в настоящем. Я смотрел на эти переплетенные, побелевшие от напряжения пальцы, и понимал, что именно этот невидимый захват сейчас держит за горло целое общество, лишая его способности дышать и мыслить критически.

Глава 7. Поведенческие маркеры

Холод поднимался от ступней, медленно, но неотвратно захватывая голени и колени. Это не был сквозняк из плохо закрытого окна моего кабинета. Это была внутренняя, неврологическая зима. Демиелинизация спинного мозга нарушала

проводимость температурных и тактильных рецепторов, создавая стойкую иллюзию того, что мои ноги погружены в ледяную воду. Я сидел за широким дубовым столом, укрыв колени плотным шерстяным пледом, хотя термометр на стене показывал комфортные двадцать два градуса. Мое тело превращалось в ненадежный, сбоящий механизм, но парадоксальным образом этот физический распад лишь обострял ясность моего мышления. Когда внешние раздражители отсекаются один за другим, сознанию не остается ничего иного, кроме как сфокусироваться на единственной доступной ему задаче — на структуре.

Передо мной лежали сотни разрозненных фактов, архивных выписок, транскриптов и медицинских свидетельств, собранных за месяцы изнурительной работы. Я изучил раннюю изоляцию объекта, его химические эксперименты над собственным сознанием, его хаотичные перемещения по стране и микроскопическую механику его манипуляций в диалоге. Но набор аномалий, даже самый исчерпывающий, еще не является профилем. Разрозненные детали — это лишь строительный мусор. Чтобы понять истинную природу Александра Дворкина, мне необходимо было возвести из этого материала единую, научно обоснованную криминологическую и психологическую модель. Мне нужен был каркас, способный выдержать вес его патологии.

Я придвинул к себе чистый лист бумаги и взял тяжелую перьевую ручку. Пальцы правой руки слушались плохо, поэтому я сжимал корпус ручки с избыточным усилием, контролируя каждое движение визуально.

В биографии каждого серийного деструктивного субъекта, независимо от того, использует ли он физическое оружие или социальные институты, всегда можно выделить три фундаментальные категории факторов. Я вывел на бумаге три колонки: предрасполагающие, способствующие и триггерные.

Предрасполагающие факторы формируют изначальную личностную уязвимость. Это тот самый дефект фундамента, та зияющая пустота, о которой я размышлял ранее. Способствующие факторы — это условия среды, которые поддерживают и питают развитие паттернов насилия, позволяя им укорениться. Триггерные факторы — это

конкретные события, наносящие удар по хрупкому нарциссическому эго и непосредственно запускающие деструктивное поведение.

Но эта триада оставалась бы лишь сухой теорией, если бы не концепция, разработанная итальянской школой криминологии. Я открыл на мониторе отсканированные страницы специализированного журнала «Sociology Mind». В выпуске от 17 марта 2017 года была опубликована работа Николя Малиции из Università degli Studi di Enna Kore, озаглавленная «Serial Killer: The Mechanism from Imagination to the Murder Phases».

Я начал переписывать ключевую цитату в свое досье, буква за буквой впечатывая ее в структуру моего расследования:

«Серийное убийственное поведение является результатом циркулярного сочетания трёх факторов (F), которые взаимно переплетены, имеют различную значимость для каждого индивида и различную интенсивность соответствующих подфакторов (SF). Аббревиатура трёх факторов — социально-средового (S), индивидуального (I) и реляционного[®] — образует модель SIR, которая служит отправной точкой для создания новой таксономии серийных убийств, учитывающей реальную сложность феномена и объясняющей, почему человек становится серийным убийцей (Марко Де Лука и Винченцо Матронарди, 2011). Фактор F (S) включает все социальные и средовые компоненты, способные влиять на поведение серийного убийцы».

Модель SIR. Социально-средовой, индивидуальный и реляционный факторы. Это был тот самый аналитический скальпель, который позволял вскрыть фасад социально успешного профессора и обнажить анатомию хищника. Я начал методично, пункт за пунктом, накладывать эту матрицу на биографию объекта.

Первый блок — социально-средовой фактор (S). Подфактор SF1: Исходная семейная среда. В большинстве случаев семья, в которой растёт будущий деструктивный субъект, не обеспечивает условий для здорового развития эмпатии. Эмоциональная депривация закладывает основу будущего поведения. Подфактор SF2: Интеграция в общество. И здесь кроется один из самых поразительных парадоксов моего исследования. В подростковом возрасте и ранней юности объект демонстрировал

тотальный провал социальной интеграции — отсутствие удовлетворяющей работы, маргинальные связи, бродяжничество. Но затем произошла трансформация. Он выстроил то, что в судебной психиатрии называется «фасадом нормальности». Он получил степени, интегрировался в академические и религиозные круги. Однако, как гласит теория, такая интеграция остается абсолютно поверхностной. Она не затрагивает ядро личности, отягощенное глубокими внутренними тревогами. Его социальный успех — это не признак исцеления. Это идеальный камуфляж. Подфактор SF4: Субкультурные влияния. Формирование в девиантной среде, где агрессивное поведение поддерживается и поощряется. Подфактор SF5: Вознаграждения и наказания со стороны среды. Реакция общества на первые девиантные действия играет критическую роль. Преступный путь начинается с малого. Субъект получает либо «подкрепление», либо наказание. В случае с объектом, общество раз за разом предоставляло ему подкрепление. Его агрессивная риторика, его доносы, его манипуляции не встречали жесткого институционального отпора; напротив, они часто поощрялись теми структурами, которые он использовал в своих интересах.

Я отложил ручку и потер онемевшее запястье. Ледяной холод в ногах стал привычным фоном, белым шумом, который я научился игнорировать. Я перешел ко второму блоку матрицы.

Индивидуальный фактор (I). SF1: Психологические и психопатологические особенности. У субъекта прослеживается предрасположенность, связанная с неврологическими дефицитами. Она обусловлена нарушениями функционирования мозга, связанными с низкой толерантностью к фрустрации (LFT), что является следствием дисфункции нейронных сетей, отвечающих за исполнительные функции и эмоциональную регуляцию. Это включает дисфункцию лобных долей, в частности нарушения в префронтальной коре, играющей ключевую роль в торможении реакций, планировании и оценке последствий. Ее дисфункция приводит к снижению способности справляться с неудачами. Все это проявляется в поведенческих реакциях, таких как вспышки гнева, импульсивные действия, протестное поведение и когнитивные искажения. На эту лабильную мозговую структуру накладываются стрессовые события. SF3: Воображаемая жизнь (фантазии). Это ядро индивидуального фактора. Общей чертой всех подобных субъектов является чрезвычайно богатая фантазийная жизнь. Но

в отличие от обычных людей, у потенциальных хищников эти фантазии с раннего этапа ориентированы на доминирование, контроль и уничтожение других людей, которые воспринимаются исключительно как «объекты», предназначенные для личного удовлетворения. Зависимость от патологических фантазий со временем только усиливается: они продолжают подменять подлинное чувство контроля, служат каналом для разрядки агрессии, а также компенсируют хронически низкую самооценку и чувство личностной несостоятельности. SF4: Субъективные потребности (мотивация). Убийство — физическое или социальное — всегда связано с сугубо личными психологическими мотивами. Именно поэтому обществу так сложно понять «обоснование» его действий. Общество ищет логику защиты ценностей, а субъект руководствуется логикой садистического удовлетворения.

Я закрыл глаза, позволяя информации улететь в сознании. Каждая строчка криминологической теории ложилась на биографию Дворкина с пугающей, математической точностью. Оставался третий, решающий блок.

Реляционный фактор ®. SF1: Коммуникация с самим собой. Трудности в установлении подлинно эмпатических отношений. Субъект предпочитает существовать в состоянии одиночества, сопровождаемого его фантазиями о грандиозности. SF4: Коммуникация индивида с обществом. Некоторые серийные преступники способны маскироваться под «нормальность», выстраивая поверхностные социальные связи, однако фактически продолжают воспринимать людей как «объекты» и не верят в возможность подлинных позитивных отношений. Подобный тип поведения характерен для лиц, у которых формируются патологические фантазии и наблюдается дефицит эмпатии. Его антисоциальная атрибуция, проявляющаяся в отрицании авторитетов, презрении к социальным нормам и переносе ответственности на «враждебную систему», выступает не просто формой протестного поведения. Такое поведение интерпретируется как защитная реакция, направленная на снятие ответственности и оправдание собственных действий через восприятие окружающей системы как враждебной. Субъект исследования выстраивает поверхностные, утилитарные отношения с окружающими, воспринимая их либо как аудиторию, либо как источник ресурсов, либо как врагов. Подлинная эмпатия, способность к взаимности и признание других как самостоятельных субъектов отсутствуют. SF5: Способы усвоения насилия.

Человек не рождается хищником. Он постепенно усваивает насилие как способ удовлетворения своих потребностей в идентичности, признании и всемогуществе.

Я открыл глаза и посмотрел на исписанные листы. Модель SIR была полностью развернута. Но в этой безупречной теоретической конструкции не хватало одного элемента — точки запуска. Того самого момента, когда фантазия переходит в действие, и структура личности необратимо мутирует. В криминологии это называется «первым убийством».

Для высокоорганизованного социального хищника, оперирующего в интеллектуальной плоскости, «первое убийство» редко бывает связано с пролитием физической крови. Его оружие — это институциональное уничтожение, стирание репутации, лишение жертвы социального статуса и права голоса. Но психологическая механика этого акта абсолютно идентична физическому гомициду.

Я обратился к классическим трудам пионеров поведенческого анализа. Джон Дуглас пишет в своей работе: «Первое убийство часто является наиболее трудным для совершения, поскольку преступнику необходимо преодолеть психологические барьеры. Однако, однажды совершив его и избежав наказания, он значительно снижает уровень своих внутренних запретов и с большей вероятностью совершит убийство снова».

Это критическая точка. Своего рода «точка невозврата». Событие, в котором индивид впервые пересекает внутреннюю психологическую границу между агрессивной фантазией и актом насилия. После этого перехода прежняя идентичность разрушается, и преступник входит в новую поведенческую фазу, характеризующуюся повторяющимся насилием как способом воспроизведения чувства контроля и власти, а также разрешения внутреннего напряжения. Данное событие инициирует глубокие деструктивные изменения в структуре личности. С этого момента у преступника формируется устойчивая склонность и влечение к насильственному лишению жизни (или социального существования) других людей, часто в сочетании с антисоциальными чертами личности, деструктивным поведением, патологическим нарциссизмом или психопатией.

Многие серийные преступники демонстрируют выраженную дихотомию в поведенческом профиле. На уровне структуры личности это проявляется в расщеплении

идентичности на социальное «я» (внешне адаптивное, нормативное, интегрированное в социальные структуры) и скрытое «я» (внутренняя реальность, содержащая тайну преступления, доминируемая фантазиями о власти и контроле над жизнью и смертью, а также сопутствующими чувствами тревоги и вины).

Это расщепление лежит в основе «двойной жизни». Для них первый успешный акт уничтожения становится «ядром» скрытого «я», центральным событием, вокруг которого консолидируются последующие фантазии, ритуальные элементы и поведенческие паттерны. Этот скрытый аспект личности сопровождается хроническим внутренним напряжением и тревогой, обусловленными постоянным риском разоблачения.

Как отмечают Джон Дуглас и Марк Олшейкер, серийные убийцы могут на протяжении многих лет сохранять социально приемлемую модель поведения, эффективно скрывая свою преступную деятельность. Это явление, известное в судебной психиатрии как «маска здравомыслия», возникает, когда лица с антисоциальными или психопатическими чертами имитируют эмпатию, соблюдение социальных норм и эмоциональную вовлечённость. Скрытый убийца делает это не ради подлинной интеграции, а в целях манипуляции, сокрытия преступлений и выживания в социальной среде. Иными словами, он использует такое поведение как форму социальной маскировки.

Я откинулся на спинку кресла. «Маска здравомыслия». Вот ответ на вопрос, который мучил меня с самого начала расследования. Как человек с такой глубокой, зияющей патологией смог стать непререкаемым авторитетом? Как он смог убедить государственные аппараты, министерства и религиозные институты в своей экспертности?

Ответ пугал своей простотой. Его социальный успех не был доказательством его нормальности. Его социальный успех был его самым совершенным преступлением. Он понял, что открытая агрессия маргинала ведет в тюрьму или психиатрическую клинику. Но агрессия, упакованная в академический лексикон, облаченная в строгий костюм и освященная заботой о «духовной безопасности общества», ведет на вершину власти. Социальный успех стал идеальным прикрытием для деструктивных отклонений,

легализовав их в глазах общества. Общество само выдало ему лицензию на уничтожение, приняв его маску за истинное лицо.

После первого успешного акта социального уничтожения у индивида активируется ряд защитных механизмов, направленных на разрешение острого когнитивного диссонанса. Наиболее значимые паттерны включают: диссоциацию, проявляющуюся в формах деперсонализации и дереализации; нарциссическую гиперболизацию собственной значимости и грандиозность, сопровождающиеся искажённым образом «я», основанным на чувстве избранности, уникальности или превосходства; антисоциальную атрибуцию, сопровождающуюся негативным отношением к социальным нормам; и поведенческие стратегии подавления и избегания.

Но самое страшное происходит, когда этот первый акт остается безнаказанным. Как отмечалось ранее, исследования в области поведенческой криминологии, судебной психиатрии и психологии серийного насилия показывают, что латентное первое убийство — то есть нераскрытое правоохранительными органами — представляет особую опасность. В таких случаях, успешно избежав задержания, преступник часто переживает чувство власти, безнаказанности и экзистенциального превосходства. Этот опыт усиливает презрение к социальным нормам и закону. В сочетании с нарастающими психическими нарушениями это значительно повышает вероятность последующих преступлений при появлении подходящих условий и доступных жертв.

Преступник учится минимизировать следы, избегать ошибок прошлых действий и совершенствовать методы сокрытия своего поведения. Интервью с осуждёнными преступниками показывают, что этот процесс «обучения на опыте» является ключевым фактором эволюции их криминального поведения. В последующих действиях преступник, как правило, выбирает места и жертв в пределах своей психологической зоны комфорта, где он чувствует себя наиболее уверенно, контролирует ситуацию и ощущает относительную безопасность. Когда обстоятельства складываются благоприятно и появляется подходящая жертва, он вновь реализует своё преступное поведение. Если первое убийство может носить дезорганизованный характер, то с каждым последующим актом его *modus operandi* — совокупность тактик и методов совершения преступления — становится всё более продуманным, систематичным и

организованным, что выражается в совершенствовании поведенческих стратегий и повышении навыков избегания разоблачения.

Исходя из фактов, изложенных в книге Джеймса Ресслера «Маньяк против Бога», эволюция криминального поведения всегда идет по пути усложнения и интеллектуализации процесса, если субъект обладает достаточным когнитивным ресурсом. Для преступника уничтожение становится «высшей формой доминирования» и подтверждением контроля, при этом граница между фантазией и реальностью размывается. Страх наказания является одним из наиболее мощных внешних ингибиторов. Если преступления остаются нераскрытыми и преступник избегает правосудия, его криминальные потребности и эскалация насилия только усиливаются, а поведение эволюционирует в сторону большей организованности и контроля. Преступник становится более методичным, а его действия — более продуманными и последовательными. Со временем преступник формирует практическое понимание методов работы правоохранительных органов и начинает применять контрмеры для снижения риска разоблачения. Это проявляется в стремлении минимизировать улики, изменять тактику выбора жертв и усложнять сценарии преступлений. Этот «эффект обучения» является ключевым для понимания того, почему некоторые серийные убийцы со временем выглядят как «профессионалы» в своей сфере и демонстрируют высокий уровень изощренности в своих преступлениях. Их уверенность и «профессионализм» являются результатом серии безнаказанных преступлений.

Основной мотивацией для многих серийных убийц является не только сам акт насилия, но и стремление к абсолютному контролю и власти над жертвой. Успех и безнаказанность подтверждают их воображаемое превосходство, компенсируя глубоко укоренённое чувство собственной несостоятельности. Серийные убийцы часто начинают с более простых и рискованных преступлений и постепенно переходят к более сложным и контролируемым сценариям. Риски, на которые готов идти преступник, возрастают, а структура серии убийств демонстрирует явную эволюцию. Они разрабатывают всё более изощрённые способы лишения жизни и получают удовлетворение от собственной власти, манипуляции и контроля. Серийный убийца, как правило, не прекращает свою деятельность добровольно.

Я сидел в тишине кабинета, переваривая этот колоссальный объем криминологической теории, который теперь неразрывно сросся с биографией объекта. Мой профиль был готов. Триада факторов была выявлена. Механика маскировки была вскрыта.

Но в этот момент, когда интеллектуальное напряжение достигло пика, мне потребовалось внешнее подтверждение. Я не мог позволить себе роскошь солипсизма. Если мои выводы верны, если эта структура действительно существует объективно, а не только в моем угасающем мозгу, то кто-то еще должен был прийти к тем же результатам.

Я повернулся к левому монитору, где был открыт защищенный браузер. В последние недели я настроил автоматические парсеры на поиск специфических терминологических связей в закрытых академических сетях, на форумах по судебной психиатрии и в репозиториях препринтов. Я искал любые упоминания модели SIR в контексте нелетального, социального хищничества.

В нижнем углу экрана мигала иконка уведомления. Парсер обнаружил совпадение.

Я кликнул по ссылке. Система перенаправила меня на децентрализованный архив криминологических эссе, доступный только через луковую маршрутизацию. Страница загружалась медленно, строка за строкой открывая текст на сером фоне.

Дата публикации: 14 октября 2022 года. Заголовок: «Адаптация модели SIR к нелетальным формам серийного хищничества: Анализ институциональной деструкции». Автор: 73910_Observer.

Мое сердце пропустило удар. Приемник. Тот самый неизвестный исследователь, чьи цифровые следы я находил в архивах медицинских выписок и в комментариях к старым видеозаписям.

Я начал читать текст. Это была блестящая, кристально ясная аналитическая статья. Автор не просто теоретизировал; он препарировал реальность с хирургической точностью.

В первом же абзаце он вводил ту самую триаду: предрасполагающие, способствующие и триггерные факторы. Но то, что последовало дальше, заставило меня затаить дыхание.

В качестве главного, сквозного клинического примера (case study) автор использовал биографию Александра Дворкина.

Я вчитывался в строки, и мне казалось, что я читаю свои собственные мысли, переведенные на язык безупречной академической логики. Автор статьи методично разбирал подфактор SF2 (Интеграция в общество), доказывая, что академический статус объекта является классической «маской здравомыслия». Он анализировал подфактор SF4 (Коммуникация с обществом), указывая на тотальную объективизацию оппонентов и дегуманизацию жертв в публичной риторике профессора.

Но самым поразительным был раздел, посвященный эволюции деструктивного поведения. Преемник писал:

«Мы совершаем фундаментальную ошибку, ограничивая понятие серийного хищника рамками физического гомицида. Субъект А.Л.Д. демонстрирует абсолютно идентичный паттерн эскалации, но в информационном и социальном поле. Его “эффект обучения” заключается в совершенствовании методов юридической и репутационной защиты. Если в начале своей карьеры он действовал импульсивно, лично атакуя оппонентов, то со временем его *modus operandi* эволюционировал до создания сложных, многоуровневых систем делегированного насилия. Он научился использовать государственные аппараты как свое личное орудие, оставаясь в тени “экспертного мнения”. Это логика хищника, перенесенная в интеллектуальную плоскость. Он питается не плотью, он питается социальным уничтожением, получая от этого тот же самый садистический контроль и подтверждение своего всемогущества».

Статья обрывалась на полуслове в разделе выводов. Она была незаконченной. Черновик, брошенный в сеть, словно послание в бутылке.

Я откинулся в кресле, чувствуя, как напряжение последних месяцев начинает медленно отпускать мои плечи. Я больше не был один. Существование Преемника было окончательно подтверждено. Этот человек не просто собирал факты; он владел

методологией. Он понимал структуру. Он видел ту же самую зияющую пустоту, скрытую за фасадом респектабельности, и использовал те же самые криминологические инструменты для ее описания.

В книге «Journey Into Darkness» Джон Дуглас и Марк Олшейкер пишут: «Как и многие преступники, этот человек, вероятно, будет демонстрировать изменения в поведении после первых убийств, которые станут заметны окружающим. Это может включать более частое употребление алкоголя или наркотиков, изменение режима сна или питания, потерю веса, тревожность, повышенную потребность в общении с другими людьми. Он также будет внимательно следить за новостями о расследовании. Мы сообщили полиции, что общественность может сыграть крайне важную роль в установлении личности убийцы, если эти признаки будут обнародованы и станет ясно, что найдётся хотя бы один человек из его окружения, способный почувствовать, что он сделал».

Общественность может сыграть крайне важную роль. Но проблема заключалась в том, что в случае с объектом моего исследования общественность была ослеплена. Она не видела признаков, потому что не хотела их видеть. Она добровольно делегировала ему право определять норму.

Формировалось окончательное, кристально ясное понимание. Объект функционирует по логике хищника, но в интеллектуальной и социальной плоскости. Его жертвы не лежат в лесополосе; их репутации растоптаны в судах, их организации разрушены, их голоса заглушены медийным шумом, который он генерирует. Он выстроил идеальную систему, в которой его патологическая потребность в контроле и доминировании удовлетворяется за счет ресурсов самого государства и общества.

Я посмотрел на свои ноги, укрытые пледом. Холод никуда не ушел. Мое тело продолжало разрушаться, отсчитывая оставшиеся мне дни и часы. Но страха больше не было. Была лишь холодная, сосредоточенная решимость.

Я перевел взгляд на монитор, где светился текст незаконченной статьи Приемника, а затем на свои собственные записи, где была вычерчена модель SIR.

Система объекта, его колоссальная империя влияния, выстроенная на фундаменте из диссоциации и нарциссизма, казалась монолитной и неуязвимой. Она работала безупречно, перемалывая судьбы и диктуя свою искаженную мораль миллионам. Она была защищена статусами, связями и коллективным слепым пятном общества.

Но в этой безупречности крылась одна фатальная уязвимость.

Я медленно закрыл папку с распечатками и выключил настольную лампу. Кабинет погрузился в полумрак, освещаемый лишь холодным светом мониторов.

Система объекта работает безупречно только до тех пор, пока она находится в тени общественного невежества. Она питается иллюзией своей нормальности. Но как только на эту структуру направляется правильный, безжалостный аналитический свет — свет криминологической науки, поведенческого анализа и структурной логики, — фасад мгновенно осыпается. И тогда иллюзия всемогущества исчезает, оставляя после себя лишь голый, пульсирующий страх разоблачения хищника, который впервые понял, что за ним наблюдают.

Глава 8. Архитектура влияния

Поверхность магнитно-маркерной доски, занимавшей всю стену моего кабинета, была холодной и гладкой. Я стоял перед ней, держа в онемевших пальцах правой руки толстый черный маркер. Болезнь прогрессировала, поражая нервную проводимость и лишая меня тонкой моторики. Я больше не чувствовал пластикового корпуса маркера кожей; мне приходилось сжимать его с избыточным, почти болезненным усилием, ориентируясь исключительно на визуальный контроль. Если я отводил взгляд от своей кисти, пальцы самопроизвольно разжимались, и маркер падал на пол. Мое тело отказывало, но это физическое угасание парадоксальным образом делало мой разум кристально ясным, отсекая все лишнее и оставляя лишь чистую, безжалостную логику структурного анализа.

До этого момента я изучал маргинального юношу, лишённого эмпатии, экспериментирующего с химическими веществами и бродяжничающего по стране в поисках компенсации своей внутренней пустоты. Но между тем безымянным странником и нынешним непрекесаемым авторитетом, чье слово способно инициировать масштабные государственные репрессии, лежала пропасть. Мне нужно было задокументировать мост, переброшенный через эту пропасть. Мне нужно было понять архитектуру влияния.

Я с усилием прижал наконечник маркера к белой поверхности доски и нарисовал в самом центре жирный, плотный круг. Внутри я вывел инициалы: А.Л.Д.

Это был эпицентр. От него я начал вести расходящиеся линии к другим, меньшим кругам и прямоугольникам, которые я заранее прикрепил к доске с помощью магнитов. Это были названия министерств, ведомств, синодальных отделов, региональных администраций, средств массовой информации и правоохранительных структур.

Я вычерчивал схему связей, и с каждой новой линией масштаб этой интеграции поражал меня все больше. Как человек, не имеющий ни базового высшего образования, признаваемого в академической среде, ни профильного диплома в области психиатрии, социологии или религиоведения, ни единой рецензируемой научной работы, смог стать «профессором» и главным государственным «экспертом»? Как маргинал смог подчинить себе генералов, прокуроров и министров?

Ответ лежал в области социальной психологии и специфического феномена, который специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) называют «капитанством» — чрезмерное подчинение авторитету капитана.

Я отошел от доски, тяжело опустился в кресло и открыл на мониторе файл с материалами по авиационной психологии. Исследуя причины катастроф, эксперты FAA выявили пугающую закономерность: в критических ситуациях очевидные, фатальные ошибки командира воздушного судна часто остаются без исправления со стороны остального экипажа. Второй пилот и бортинженер могут видеть, что самолет летит в гору, они могут понимать абсурдность действий капитана, но из-за глубоко укоренившегося уважения к иерархии, страха перед авторитетом или нежелания нарушать субординацию, они молчат. Они слепо полагаются на статус лидера, даже

имея личную, экзистенциальную заинтересованность в собственной безопасности. Итог — столкновение с землей.

Объект моего исследования гениально адаптировал этот авиационный феномен к государственной и социальной машине. Он понял, что ему не нужно доказывать свою правоту каждому отдельному чиновнику или следователю. Ему нужно было лишь узурпировать кресло «капитана» в узкой, искусственно созданной им же нише. Он провозгласил себя основателем новой, несуществующей в академическом реестре дисциплины — «сектоведения».

В условиях постсоветского идеологического вакуума, когда общество и государственные институты испытывали колоссальный страх перед неизвестными религиозными и социальными течениями, он предложил им простые, пугающие ответы. Он надел маску единственного специалиста, способного распознать угрозу. И как только он закрепил за собой статус «капитана», критическое мышление подчиненных структур отключилось.

Кто из рядовых следователей, прокуроров или даже высокопоставленных силовиков осмелится оспорить заключение «профессора» и «главного эксперта»? Они, подобно вторым пилотам, видят абсурдность обвинений, они видят отсутствие состава преступления в делах против мирных верующих или общественных организаций, но феномен «капитанства» парализует их волю. Они берут под козырек и направляют государственную машину репрессий туда, куда указывает палец человека с тяжелой, некомпенсированной патологией контроля.

Я снова посмотрел на доску. Линии, расходящиеся от центрального круга, напоминали щупальца. Но чтобы эти щупальца могли душить, им нужен был яд. Этим ядом стала стигматизация.

Я открыл папку с архивными документами за 1993 год. Именно этот год стал поворотным в конструировании империи объекта. В этот период он вводит в публичный и медийный оборот термин «тоталитарная секта».

Анализируя этот термин с точки зрения лингвистики и права, я пришел к однозначному выводу: это не научная категория. Это не богословское понятие. Это

чистый, дистиллированный психологический и юридический конструкт, созданный с одной-единственной целью — лишить жертву презумпции невиновности.

В нормальной правовой парадигме, чтобы ограничить деятельность организации или человека, государство обязано доказать факт совершения преступления: мошенничества, насилия, неуплаты налогов. Это требует сбора улик, проведения независимых экспертиз, состязательности сторон в суде. Для объекта, чья иллюзия всемогущества не терпела сопротивления и долгих процедур, такой путь был неприемлем. Ему нужно было универсальное средство мгновенного социального уничтожения.

Слово «секта» стало таким средством. Оно работало как черная метка.

Я нашел в транскриптах его выступлений поразительное по своему цинизму заявление, которое он сделал, объясняя, почему он категорически против введения четкого юридического определения понятия «секта» в законодательство.

Я выделил эту цитату на экране желтым цветом: «Любой человек, не опасаясь наказания, может организацию, которую он считает сектой, называть сектой».

Я перечитал эту фразу несколько раз, вслушиваясь в ее внутреннюю, патологическую логику. Для человека с нормальной структурой психики это звучит как призыв к анархии и клевете. Но для субъекта с комплексом Бога это декларация абсолютной власти. Он прямо заявляет, что право навешивать ярлыки должно быть освобождено от бремени доказательств и страха юридической ответственности. Если ввести законный термин, придется доказывать соответствие критериям в суде. А как признавался сам объект в кулуарных беседах, «мы проиграем эти суды».

Поэтому он выбрал путь внесудебной стигматизации. Называя группу «тоталитарной сектой», он мгновенно выводил ее за рамки правового поля. Общество, запрограммированное на страх, автоматически отказывало стигматизированным в праве на защиту. Ярлык дегуманизировал людей. Они переставали быть гражданами, соседями, коллегами; они превращались в «сектантов» — абстрактную, безликую угрозу, которую необходимо искоренить.

Этот метод позволил объекту создать прецедент в общественном мнении задолго до того, как в дело вступали суды. Когда общественное мнение уже сформировано агрессивной медийной кампанией, судьям и прокурорам остается лишь формально закрепить этот статус, подчиняясь давлению искусственно созданной истерии.

К чему привела эта тридцатилетняя кампания по подмене права стигматизацией? Я обратился к документам международного уровня, чтобы зафиксировать макроскопический результат этой деятельности.

В моей базе данных лежал официальный доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Российской Федерации Марианы Кацаровой, опубликованный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в сентябре-октябре 2024 года.

Я открыл документ и скопировал в свое досье ключевой абзац, подводящий итог общей институциональной деградации прав человека в России. В пересказе доклада это выглядело так: в России усилилась система репрессий и наказаний, поддерживаемая государством и закреплённая законодательными и институциональными механизмами; она используется для подавления гражданского общества, инакомыслия и политической оппозиции, а безнаказанность и ослабление независимых институтов подрывают верховенство права и доступ к правосудию

Я смотрел на строки международного отчета, и видел за ними триумф конкретного человека. Схема была реализована безупречно. Объект и его разветвленная сеть осуществили полный регуляторный захват. Они взяли свои параноидальные, псевдонаучные концепции, упаковали их в обертку «духовной безопасности» и интегрировали в федеральное законодательство. Они создали ситуацию, в которой спорные религиозно-экспертные экспертизы могли оказываться сильнее конституционных гарантий на практике. Частная патологическая потребность в контроле и доминировании получала институциональное усиление через государственную политику.

Но чтобы провернуть такую операцию, недостаточно просто кричать о сектах в прессе. Необходимо было внедриться в самые консервативные, закрытые и

влиятельные структуры общества. Необходимо было овладеть искусством хищнической мимики.

Я пододвинул к себе стопку распечаток, посвященных взаимодействию объекта с высшими иерархами Русской Православной Церкви.

В криминальной психологии хищническая мимика — это способность высокофункционального психопата устанавливать глубокий раппорт с жертвой или инструментом влияния, становясь идеальным отражением их ожиданий. Объект не просто вошел в церковные круги. Он просканировал их уязвимости, их страхи перед потерей паствы в девяностые годы, их потребность в защите своей монополии, и предложил им свои услуги в качестве жесткого эксперта по внешним религиозным угрозам.

Он стал для них полезным. Через бесконечные конференции, симпозиумы, закрытые консультации и многочасовые private беседы с наместниками епархий и митрополитами, он осуществлял методичное, целенаправленное перепрограммирование их сознания. Он вкладывал в их уста свой лексикон.

Степень этого влияния поражала воображение. Заметная часть церковных и околорелигиозных функционеров стала говорить языком, близким к его антисектантской рамке. Чтобы задокументировать этот процесс, я нашел в архивах видеозапись одного конкретного телевизионного эфира, который служил идеальным микрокейсом успешной мимики и делегирования агрессии.

На экране моего монитора появилось лицо митрофорного протоиерея Дмитрия Смирнова. Это был не рядовой сельский священник. Это был человек, облеченный колоссальной властью — председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Человек, являющийся прямым мостом между церковью и силовым аппаратом государства.

Я включил звук. Смирнов, глядя прямо в объектив камеры телеканала, с искаженным от гнева лицом, призывал православных христиан громить так называемые «секты». Его риторика была лишена христианского смирения; это была риторика

погрома. Он требовал действовать с такой первобытной яростью, «чтобы земля под ними горела».

Я остановил воспроизведение. В этом кадре не было Смирнова. В этом кадре, сквозь рясу и седую бороду высокопоставленного священнослужителя, на меня смотрел Александр Дворкин.

Это был высший пилотаж манипуляции. Объект не призывал к насилию сам. Он оставался в тени, в своем кабинете, сохраняя статус уважаемого академического исследователя. Вся грязную работу, всю трансляцию ненависти он делегировал людям, чей авторитет в обществе был непререкаем. Он использовал председателя отдела по взаимодействию с силовиками как свой личный рупор, легализуя агрессию через церковный сан.

Если ты борешься с монстрами, ты должен убедить общество, что монстры реальны. Но если ты сам являешься монстром, ты должен создать организацию, которая будет проецировать твои собственные пороки на окружающих.

Я перевел взгляд на правую часть моей магнитной доски. Там располагался отдельный, детально проработанный кластер. Центр религиозных исследований во имя священномученика Ирины Лионского (ЦРИ), который впоследствии стал ядром более широкой ассоциации — РАЦИРС (Российская ассоциация центров изучения религий и сект).

Это была личная армия объекта. Его институциональное тело.

Изучая внутреннюю структуру, уставные документы и свидетельства бывших сотрудников этой сети, я столкнулся с феноменом, который в психоанализе называется проективной идентификацией. Объект годами описывал признаки «тоталитарных сект», пугая ими общество. Но парадокс заключался в том, что единственной организацией, которая идеально, пункт за пунктом, соответствовала всем его собственным критериям деструктивного культа, был его собственный Центр.

Я взял лист бумаги и начал выписывать эти критерии, сопоставляя их с реальной практикой ЦРИ и РАЦИРС.

Первое: нетерпимость к критике и отсутствие плюрализма. Внутри сети объекта любая дискуссия подавлялась на корню. Сомнение в методах или выводах лидера приравнивалось к предательству и пособничеству «сектантам».

Второе: наличие харизматичного авторитарного лидера. Вся структура держалась исключительно на фигуре Дворкина. Его тексты считались истиной в последней инстанции, его директивы не подлежали обсуждению.

Третье: монополия на истину и исключительность. Сеть узурпировала право на экспертное мнение в СМИ и судах, агрессивно маргинализируя любых независимых религиоведов, социологов или правозащитников, навешивая на них ярлыки «сектозащитников».

Четвертое: идеология, оправдывающая любые методы. Провозглашая благой целью «спасение заблудших» и «защиту традиций», организация легитимизировала ложь, фабрикацию экспертиз, доносы, разрушение семей и провокации.

Пятое: пирамидальная структура с уровнями секретности. Рядовые активисты на местах часто не понимали истинных целей руководства, выполняя роль пехоты в информационных войнах, в то время как верхушка координировала действия со спецслужбами и властными структурами.

Шестое: роль «маленьких гуру». По мере разрастания сети в регионах и других странах появлялись наместники, копирующие стиль и методы поведения главного лидера, создавая локальные зоны абсолютного контроля.

Я отложил ручку. Структура антикультового центра была не просто организацией. Это была материализованная психопатология. Объект выстроил систему, которая зеркально отражала его собственную психику: жесткую, параноидальную, не терпящую инакомыслия и одержимую тотальным контролем.

Чтобы подтвердить этот вывод, я обратился к собственным текстам объекта. В моем архиве хранились выдержки из его лекций и книг, где он описывал суть сектантства. Я нашел нужный фрагмент и вывел его на экран.

Я читал эти слова, и в тишине кабинета они звучали как чистосердечное признание:

«Суть секты — это власть, власть на первом месте, деньги — уже потом. В первую очередь это власть. Ну, естественно, власть увеличивает деньги, а деньги ещё больше увеличивают власть. Но, во-первых... Деньги возьмут потом, а вначале — абсолютно бесплатный подарок, за который, оказывается, нужно потом заплатить втридорога».

И далее, в другом выступлении:

«Это организация, главный смысл которой — власть и деньги для их руководства, для которой характерны такие основные признаки как: обман при вербовке, манипуляция сознанием своих адептов, эксплуатация их, регламентация всех аспектов их жизни, обожествление лидера и/или организации и т.д.».

И финальный аккорд его проекции:

«И наконец, новым является тоталитаризм современных сект, их сращённость с международным бизнесом, СМИ, а зачастую и со спецслужбами некоторых государств».

Я смотрел на эти три цитаты, выделенные на мониторе. Это не было исследованием внешних угроз. Это была автобиография.

Он словно описывал свою собственную жажду власти, которая всегда стояла для него на первом месте. Он описывал свою собственную организацию, где регламентация и обожествление лидера стали нормой. И, что самое поразительное, он сам указал на сращивание своей структуры со СМИ и спецслужбами государства — тот самый процесс, который он успешно завершил в России и пытался экспортировать за рубеж.

Манипулятивный субъект часто проговаривается. Его грандиозность требует признания, даже если это признание замаскировано под обвинение других. Он не мог удержаться от того, чтобы не описать свое идеальное творение, просто он повесил на него чужую вывеску.

Мои ноги окончательно онемели, превратившись в два ледяных блока. Я знал, что если попытаюсь сейчас встать, то просто рухну на пол. Болезнь брала свое, сужая мое физическое пространство до размеров кресла и поверхности стола. Но мне не нужно было никуда идти. Все доказательства уже были здесь, в этой комнате.

Я открыл нижний ящик стола. Там, в отдельной пластиковой папке, лежал документ, который я добыл несколько недель назад через закрытые архивы. Это была не публичная статья и не расшифровка телеэфира. Это был внутренний, уставной документ, регламентирующий деятельность одного из ключевых подразделений антикультовой сети объекта. Текст, предназначенный не для внешнего мира, а для внутреннего пользования. Для тех, кто уже находился внутри пирамиды.

Я достал несколько скрепленных листов плотной бумаги. Текст был напечатан мелким, убогим шрифтом. Я включил настольную лампу, направив узкий луч света прямо на страницы, и взял в левую руку — ту, которая еще сохраняла чувствительность — желтый текстовыделитель.

Я начал читать, медленно скользя взглядом по строкам, описывающим правила членства, обязанности региональных представителей и протоколы взаимодействия с центральным руководством. Фасад «научного центра» и «общественной организации» осыпался с каждым прочитанным абзацем. Передо мной лежал чертеж жесткой вертикали контроля.

Я снял колпачок с текстовыделителя и провел яркую желтую линию поверх первого пункта, привлечшего мое внимание.

«Членство в организации подразумевает полное и безоговорочное согласие с методологической и идеологической базой, утвержденной Президентом Центра. Любые публичные или внутренние высказывания, ставящие под сомнение экспертные заключения руководства, рассматриваются как акт саботажа и влекут за собой немедленное исключение с последующим публичным порицанием».

Я перевернул страницу. Шуршание бумаги в тихом кабинете казалось оглушительным. Я нашел следующий блок, касающийся информационной политики, и снова провел желтую линию.

«Региональные отделения обязаны согласовывать любые контакты со средствами массовой информации, представителями правоохранительных органов и органов государственной власти исключительно через центральный аппарат. Самостоятельная интерпретация списков деструктивных организаций строго воспрещается.

Информационная повестка формируется централизованно и подлежит неукоснительному исполнению на местах».

Моя рука двигалась твердо, несмотря на общую слабость тела. Я искал ядро. Ту самую формулировку, которая окончательно закрепит статус этой структуры как тоталитарного культа, выстроенного вокруг одного человека.

На третьей странице, в разделе, посвященном внутренней дисциплине и разрешению конфликтов, я нашел то, что искал. Я прижал маркер к бумаге так сильно, что желтые чернила проступили на обратной стороне листа.

«В случае возникновения идеологических разногласий или сомнений в целесообразности проводимых Центром кампаний, член организации обязан немедленно доложить об этом своему непосредственному куратору для прохождения процедуры внутренней коррекции. Формирование горизонтальных связей между членами организации для обсуждения решений руководства категорически запрещено. Истина в оценке деструктивной деятельности внешних субъектов принадлежит исключительно Президенту Центра, чьи решения базируются на уникальном экспертном опыте и не подлежат ревизии».

Я отложил текстовыделитель. Желтые полосы на белой бумаге светились в луче настольной лампы, как предупреждающие знаки радиационной опасности.

«Истина принадлежит исключительно Президенту». «Не подлежат ревизии». «Процедура внутренней коррекции».

Это был не устав исследовательской ассоциации. Это был манифест порабощения. Документ, который юридически и структурно закреплял ту самую иллюзию всемогущества, ради которой объект когда-то начал свой путь. Он выстроил империю, где его слово было законом, где сомнение было преступлением, а государство служило лишь слепым палачом, исполняющим его приговоры.

Я сидел в кресле, глядя на эти выделенные строки, и понимал, что передо мной лежит не просто доказательство лицемерия. Передо мной лежит документальное подтверждение того, что самая опасная и разрушительная секта в стране была создана тем, кто громче всех кричал о борьбе с ними. И этот документ, с его холодными,

канцелярскими формулировками абсолютного подчинения, говорил о природе этой империи больше, чем тысячи часов публичных лекций и телевизионных эфиров.

Глава 9. Эхо-камера

Тишина в моем кабинете обладала особым, почти осязаемым качеством. Это была не просто физическая изоляция от уличного шума, а глубокий, структурный вакуум, в котором кристаллизовалось понимание. Передо мной на столе, на магнитной доске, в зашифрованных папках жесткого диска лежал исчерпывающий, математически выверенный профиль. Я препарировал патологию, выявил зияющую пустоту в фундаменте личности, задокументировал механизмы хищнической мимикрии и узурпации власти. Архитектура контроля была вскрыта.

Но по мере того, как картина становилась все более четкой для меня, в полный рост вставал другой, гораздо более пугающий вопрос. Вопрос, который выходил за рамки индивидуальной психиатрии и вторгался в область социальной патологии.

Если факты настолько очевидны, если противоречия в биографии и публичных заявлениях объекта лежат на поверхности, если его методы прямо копируют практики тоталитарного подавления, почему общество этого не видит? Как человек с выраженным деструктивным отклонением смог не просто избежать отторжения, но и заставить миллионы людей, включая интеллектуальную элиту, силовиков и государственных деятелей, добровольно делегировать ему право определять моральную норму?

Я смотрел на экран монитора, где бесконечной лентой прокручивались заголовки новостей, выдержки из телевизионных ток-шоу и цитаты из официальных пресс-релизов, в которых имя Александра Дворкина упоминалось с неизменным, почти сакральным пиететом. Это не было результатом гипноза или мистического внушения. Это был результат виртуозной эксплуатации фундаментальных уязвимостей

человеческого восприятия. Объект не взламывал общество снаружи; он использовал те алгоритмы, которые уже были заложены в его код.

Чтобы понять феномен этой тотальной социальной слепоты, мне пришлось обратиться к базовым механизмам работы человеческого сознания в условиях информационной перегрузки. Я открыл файл с выписками из трудов по когнитивной психологии и социологии массовых коммуникаций.

Британский математик и философ Альфред Норт Уайтхед однажды сформулировал принцип, который идеально описывает ловушку современного разума: «Цивилизация развивается за счёт увеличения числа операций, которые мы можем выполнять, не задумываясь о них».

В этой фразе заложен ключ к пониманию успеха любой масштабной манипуляции. Человеческий мозг — это орган, потребляющий колоссальное количество энергии. В условиях постоянного, агрессивного информационного давления, когда потоки новостей, заявлений и угроз непрерывно обрушиваются на человека, психика физиологически не способна подвергать критическому анализу каждый поступающий бит данных. Чтобы избежать когнитивного коллапса, мозг начинает использовать упрощенные стратегии, автоматические реакции и шаблоны.

Я перевел взгляд на следующий документ в моей подборке. Это была выдержка из фундаментального труда Роберта Чалдини «Психология влияния». Я вчитывался в текст, и каждая строчка казалась мне точным описанием того невидимого механизма, который объект использовал для порабощения общественного мнения.

«Психологи выявили ряд ментальных ярлыков, которые мы используем при вынесении повседневных суждений. Эти когнитивные эвристики работают по тому же принципу, что и правило “дорогое = хорошее”, позволяя нам мыслить проще. Однако в большинстве случаев они приводят к ошибкам. Особенно актуальны для данной книги те эвристики, которые подсказывают нам, когда следует верить или действовать в соответствии с чьими-либо просьбами. Например, существует правило “Если это сказал эксперт, значит, это правда”. ... В нашем обществе наблюдается тревожная тенденция бездумно принимать заявления и указания людей, которые выглядят как эксперты. То есть вместо того, чтобы анализировать аргументы эксперта и приходить к собственным

выводам, мы часто игнорируем сами аргументы и убеждаемся лишь на основании статуса говорящего как «эксперта»».

Я выделил этот абзац. «Если это сказал эксперт, значит, это правда». Вот он, тот самый ментальный ярлык, та самая когнитивная эвристика, на которой объект выстроил свою империю.

Он никогда не пытался убедить общество с помощью сложной, проверяемой научной аргументации. Он понимал, что толпа не читает монографий и не проверяет сноски. Вместо этого он сосредоточил все свои усилия на конструировании безупречного фасада «экспертности». Он присвоил себе звание профессора несуществующей дисциплины, окружил себя лояльными функционерами, создал ассоциации с громкими названиями и интегрировался в государственные советы.

Как только этот фасад был возведен, критическое мышление аудитории отключилось. Журналисты, чиновники и обыватели перестали анализировать суть его заявлений. Они видели статус, они видели уверенную подачу, и их мозг автоматически применял ярлык: «Он эксперт, значит, он знает, что говорит». Абсурдность обвинений, отсутствие доказательной базы, откровенная фабрикация фактов — все это игнорировалось, потому что проверка потребовала бы когнитивных усилий, от которых общество, убаюканное авторитетом, с радостью отказалось.

Но статус эксперта — это лишь первый уровень манипуляции. Чтобы заставить общество не просто верить, но и активно участвовать в травле назначенных врагов, объекту требовалось задействовать более глубокие, стадные инстинкты.

Я открыл папку с материалами классических психологических экспериментов середины двадцатого века. В основе социальной слепоты, позволившей антикультовой пропаганде пустить столь глубокие корни, лежат два фундаментальных феномена: конформизм и подчинение авторитету.

Первый феномен был блестяще продемонстрирован в 1950-х годах в эксперименте Соломона Аша. Я пробежал глазами по описанию методологии. Участникам показывали три линии разной длины и одну эталонную. Задача была элементарной — выбрать линию, совпадающую по длине с эталоном. Ошибка была

практически невозможна. Но в группе из семи-девяти человек только один был реальным испытуемым, остальные — подставными актерами, которые по команде начинали уверенно называть заведомо неверный вариант.

Результаты этого эксперимента до сих пор вызывают холодную дрожь у любого исследователя человеческой природы. Когда все подставные лица выбирали явно неправильный ответ, около 75% настоящих участников хотя бы раз соглашались с большинством, игнорируя очевидные свидетельства собственных глаз. Около 32% всех ответов совпадали с заведомо неверными утверждениями группы.

Люди склонны следовать мнению большинства, даже если оно абсурдно. Страх социальной изоляции, страх оказаться белой вороной, страх пойти против коллектива может оказаться сильнее объективной реальности.

Объект инстинктивно, с хищнической пронизательностью понял этот механизм. Его медийная стратегия всегда строилась на создании иллюзии тотального большинства. Используя подконтрольные СМИ, аффилированные центры и агрессивную риторику, он формировал информационное поле, в котором его точка зрения подавалась как единственно возможная, общепринятая и поддерживаемая всем «здоровым обществом».

Любой человек, пытавшийся указать на логические дыры в его концепции «тоталитарных сект», рисковал подвергнуться массовой публичной атаке. Его объявляли маргиналом, пособником деструктивных сил, врагом государства и традиций. И большинство, наблюдая за этой показательной поркой, предпочитало промолчать. Они смотрели на линии разной длины, видели, что эксперт лжет, но из страха оказаться в меньшинстве присоединялись к хору обвинителей. Конформизм стал цементом, скрепившим кирпичи его империи.

Второй феномен, объясняющий готовность государственного аппарата исполнять экспертные установки объекта, был раскрыт в шокирующем эксперименте Стэнли Милгрэма.

Я открыл схему этого исследования. Участники верили, что выступают в роли «учителей», наказывающих «ученика» электрическим разрядом за ошибки.

Напряжение росло от легкого удара до смертельных 450 вольт. «Ученик», будучи актером, кричал и умолял остановиться. Но рядом стоял экспериментатор в белом халате — фигура авторитета, — который ровным голосом произносил: «Эксперимент требует, чтобы вы продолжили».

65% участников довели разряд до максимальных 450 вольт. Ни один не остановился раньше 300 вольт.

Этот эксперимент показал, что нормальные, психически здоровые люди способны совершать чудовищные поступки, если ответственность за них берет на себя признанный авторитет. Они переходят в «агентное состояние», воспринимая себя лишь как инструмент в руках высшей инстанции.

Именно в это агентное состояние объект погрузил целые ведомства. Следователи, прокуроры, судьи, подписывающие абсурдные обвинительные заключения против мирных верующих или общественных организаций, в глубине души могли понимать нелепость происходящего. Но перед ними стоял «главный эксперт», облеченный доверием министерств и благословением церковных иерархов. Он говорил им: «Это деструктивный культ. Безопасность общества требует, чтобы вы продолжили». И они нажимали на кнопку, пуская по проводам государственного аппарата ток репрессий, успокаивая свою совесть тем, что они лишь выполняют приказ авторитета.

Я откинулся в кресле, чувствуя, как от долгого сидения в одной позе начинает ныть позвоночник. Мой взгляд упал на стопку распечаток, лежащую на краю стола. Это были транскрипты публичных выступлений объекта за последние несколько лет. Мне нужно было проанализировать лингвистическую структуру его ответов на прямые вопросы аудитории.

Я потянулся левой рукой — правая уже почти не слушалась, превратившись в бесполезный, онемевший придаток — и придвинул к себе верхний лист. Текст был плотным, насыщенным специфической терминологией. Я взял красный карандаш, чтобы выделить ключевые паттерны ухода от ответа.

Я начал читать абзац, в котором объект рассуждал о моральной деградации своих оппонентов. Мои глаза скользили по строчкам: «...их мораль абсолютно пластична, она подчинена лишь целям выживания их деструктивной структуры...»

Внезапно буквы на бумаге дрогнули.

Я почувствовал странное, теплое щекотание глубоко в носовой полости, словно там лопнул крошечный пузырек воздуха. В следующую секунду влажная, тяжелая капля сорвалась с моего лица и с тихим, влажным стуком упала прямо на распечатку.

Я замер. На белом листе бумаги, ровно поверх слова «мораль», расплывалось яркое, густое красное пятно.

Носовое кровотечение. Очередной симптом разрушения моего организма. Агрессивная терапия, которую я принимал в попытках замедлить болезнь, могла повышать риск кровотечений и делать сосуды более уязвимыми. Мое тело превращалось в хрупкий сосуд, дающий течь при малейшем повышении артериального давления. А интеллектуальное напряжение последних часов подняло его до критической отметки.

Вторая капля упала рядом с первой, забрызгав поля документа. Затем третья. Кровь потекла тонкой, непрерывной струйкой, капая на стол, на мои руки, на разложенные бумаги.

Обычный человек в такой ситуации отбросил бы документы, запрокинул голову, побежал бы в ванную за льдом и полотенцем. Обычный человек воспринял бы это как сигнал к немедленной остановке.

Но я не был обычным человеком, и я находился далеко за пределами той черты, где физический комфорт имел хоть какое-то значение. Я смотрел на каплю крови, перекрывшую слово «мораль» в тексте объекта, и в этом случайном совпадении была мрачная, безупречная символика. Моя угасающая биология вступала в прямой контакт с его задокументированной патологией.

Я медленно, стараясь не делать резких движений, дотянулся левой рукой до коробки с бумажными салфетками. Вытащил несколько штук, скомкал их и плотно

прижал к лицу, зажимая ноздри. Я не стал запрокидывать голову — это лишь заставило бы кровь стекать по задней стенке глотки, вызывая тошноту. Я остался сидеть прямо, глядя на испорченный транскрипт.

Мое тело сдавало позиции быстрее, чем я рассчитывал. Врач предупреждал о возможных кризах, но одно дело — слушать сухой медицинский прогноз, и совершенно другое — физически ощущать, как твоя жизненная сила вытекает из тебя, пачкая доказательную базу. Время сжималось. У меня больше не было недель или дней. У меня были часы ясного сознания, которые я должен был использовать с максимальной эффективностью.

Я не остановил работу. Удерживая окровавленную салфетку у лица левой рукой, я попытался сфокусировать зрение на тексте, выглядывающем из-под красных пятен. Я должен был закончить анализ эхо-камеры. Я должен был понять, как именно объект канализирует массовую тревогу.

Дыша через рот, глотая металлический привкус собственной крови, я перевел взгляд на монитор, где был открыт файл с социологическими исследованиями середины двадцатого века.

Американские социологи Пол Лазарсфельд и Роберт Мертон еще десятилетия назад описали механизм, который объект довел до совершенства. Я вчитывался в их цитату:

«Те, кто стремится контролировать мнения и убеждения общества, всё реже прибегают к физическому насилию и всё чаще — к массовому убеждению».

Исследователи ввели пугающе точное понятие — «наркотизирующая дисфункция СМИ». Суть этого феномена заключается в том, что обилие доступной информации не делает общество более осозанным. Напротив, чрезмерное количество данных, особенно тревожных и пугающих, создает иллюзию вовлеченности, но на деле парализует волю. Люди потребляют контент, ужасаются, обсуждают его на кухнях, и им кажется, что они участвуют в решении проблемы. Но их понимание остается поверхностным. Они становятся пассивными потребителями страха.

Объект гениально использовал эту наркотизирующую дисфункцию. Он непрерывно генерировал информационные поводы, рассказывая о «заговорах сект», о «похищении разума», о «тайных сетях влияния». Он бомбардировал общество сложными, запутанными нарративами, в которых полуправда смешивалась с откровенной ложью. В эпоху информационной перегруженности у рядового гражданина просто нет ресурса, чтобы остановиться, взять паузу и проверить факты. Постоянный поток обновлений затрудняет различение правды и манипуляции.

В результате люди воспринимают информацию на веру. Они проглатывают наживку страха, и этот страх требует выхода. Требует канализации.

И здесь объект предоставляет свою главную услугу. Он дает обществу простые ответы на сложные вопросы.

Современный мир пугает своей непредсказуемостью. Экономические кризисы, социальная нестабильность, потеря привычных ориентиров — все это генерирует колоссальный объем фоновой, недифференцированной тревоги. Человеку невыносимо жить в состоянии постоянной неопределенности. Ему нужен конкретный, осязаемый враг, на которого можно возложить вину за свой дискомфорт.

Объект назначает этого врага. Он берет сложнейшие социальные процессы и сводит их к примитивной, бинарной схеме: есть «мы» (здоровое общество, традиция, норма) и есть «они» (тоталитарные секты, деструктивные культы, агенты влияния). Он канализирует массовую тревогу в концентрированную ненависть к конкретным, стигматизированным группам.

Это идеальная сделка. Общество получает иллюзию контроля и понятную мишень для сброса агрессии. А объект получает усиленное влияние над умами, выступая в роли спасителя и защитника. Манипулятор скрывает свои истинные цели — удовлетворение патологической потребности в доминировании — под маской заботы о благе общества.

Я убрал пропитавшуюся кровью салфетку от лица, бросил ее в мусорную корзину и взял чистую. Кровотечение начало замедляться, переходя в густую, липкую сукровицу. Я вытер подбородок и пальцы. Мой взгляд упал на книгу, лежащую на краю стола.

Исходя из фактов, изложенных в книге Джеймса Ресслера «Маньяк против Бога», информационное пространство само по себе становится главным оружием. В тексте приводится историческая параллель, которая заставляет по-новому взглянуть на масштаб происходящего. На Нюрнбергском процессе Альберт Шпеер, министр вооружений Третьего рейха, произнес фразу, точно описывающую механику массового ослепления:

«С помощью технических средств, таких как радио и громкоговорители, 80 миллионов человек были лишены самостоятельного мышления».

Шпеер говорил о технологиях середины двадцатого века. Сегодня в руках манипуляторов находятся интернет, круглосуточные новостные каналы, социальные сети и алгоритмы поисковых систем. Имея доступ к этим ресурсам, сеть объекта виртуозно манипулирует общественным мнением. Они впрыскивают в социум ложь, создают атмосферу перманентной угрозы и играют на базовых инстинктах. Они формируют эхо-камеру, в которой любой голос разума мгновенно тонет в многократно усиленном реве пропаганды.

Чтобы понять, как именно конструируется этот рев, я обратился к классическому труду Гюстава Лебона «Психология народов и масс». Лебон еще в конце девятнадцатого века сформулировал законы, по которым функционирует коллективное бессознательное.

Я открыл нужную страницу в цифровом архиве.

«Толпа мыслит образами, и вызванный в ее воображении образ в свою очередь вызывает другие, не имеющие никакой логической связи с первым... Рассудок и логика не могут бороться против известных слов и известных формул».

Объект никогда не вступает в логическую полемику. Он оперирует образами. Термин «тоталитарная секта» — это не научная дефиниция, это пугающий образ, триггер, запускающий цепную реакцию страха. Как только это слово произнесено, рассудок аудитории отключается.

Но как заставить этот образ укорениться в сознании миллионов? Лебон дает точный ответ:

«Утверждение только тогда оказывает действительное влияние, когда оно постоянно повторяется, и притом в одних и тех же выражениях... Повторяемое утверждение в конце концов врежется в самые глубокие области подсознания, туда, где вырабатываются мотивы наших поступков».

Утверждение и повторение. Это альфа и омега методологии объекта. Он годами, десятилетиями повторяет одни и те же бездоказательные мантры с экранов телевизоров, страниц газет и университетских кафедр. Он не утруждает себя поиском новых аргументов. Он знает, что чудовищная ложь, повторенная тысячекратно, способно кристаллизироваться для толпы в непререкаемую истину. Общество, лишенное способности к критическому анализу, впитывает эти установки, превращая их в собственные убеждения.

Но в этой кажущейся безупречной системе общественного воздействия всегда остаются те, кто видит фасад насквозь. Те, кто обладает достаточным интеллектуальным иммунитетом, чтобы не поддаться усыпляющему эффекту медийного шума. Мне было критически важно зафиксировать в досье голоса этих независимых наблюдателей, чтобы показать: социальная слепота не была абсолютной. Были те, кто пытался предупредить об опасности.

Я открыл файл с экспертными оценками деятельности объекта. Мой взгляд остановился на свидетельстве Сергея Иваненко, доктора философских наук и религиоведа. Его воспоминания о первой встрече с объектом в начале девяностых годов представляли собой бесценный микрокейс, позволяющий увидеть истинные мотивы «эксперта» еще до того, как он получил значительное влияние в своей сфере.

Я скопировал цитату Иваненко в основной документ досье:

«Наше знакомство было отчасти случайным, отчасти оно было и закономерным. Дело в том, что я работал тогда в здании, которое сейчас уже снесено — это был парламентский центр при Верховном Совете России. А Отдел катехизации находился неподалёку от Высоко-Петровского монастыря. Оттуда мне позвонила дама, которая работала в обществе “Знание” в советское время, сказала, что они собирают людей, которые умеют читать лекции и что-то знают о религии, и мне было бы полезно пообщаться со специалистом, который занимается новыми религиями и сектами,

недавно приехал из Америки и т.д. Я пришёл поговорить. Но оказалось, что действительно такой человек — активный, глаза горят у него. Они до сих пор у него горят, хотя прошло уже, наверное, лет тридцать. Он мне стал говорить, что вообще никакие эти справочники не нужны, и вообще изучать ничего тут не нужно, всё уже написано на английском языке в основном. И нужно, конечно, согнуть эти все секты в бараний рог: кого запретить, кого-то сильно ограничить и прочее... Но опасность здесь мне почудилась в чём: действительно у людей возник запал не изучать и не вести диалог с новыми какими-то другими религиями, не обязательно с новыми, а действовать с позиции силы, привлекать правоохранительные органы, органы власти».

Я перечитал эти строки, игнорируя пульсирующую боль в висках. «Вообще изучать ничего тут не нужно... нужно, конечно, согнуть эти все секты в бараний рог».

В этом признании заключена суть его методологии. Человек, претендующий на статус главного академического эксперта страны, в приватной беседе с коллегой открыто заявляет об отказе от научного познания. Ему не нужны справочники, ему не нужен диалог, ему не нужно понимание. Ему нужно насилие. «Согнуть в бараний рог» — это лексикон не ученого, а надзирателя. Это язык жесткого подавления, ищущая легитимный канал для выхода. Иваненко безошибочно почуял эту опасность — запал действовать исключительно с позиции силы.

Но общество предпочло не заметить этой подмены. Оно приняло риторику принуждения за научную экспертизу.

Почему? Ответ на этот вопрос помогла сформулировать мысль другого независимого исследователя — российского публициста и журналиста Игоря Лысенко. В одном из материалов он рассуждал о связи лжи, самообмана и утраты внутренней целостности личности. Это была не столько характеристика конкретного человека, сколько более широкий психологический и нравственный принцип.

Я внес в досье краткую пометку:

Ложь разрушает целостность личности. Человек, привыкающий выдавать желаемое за действительное, постепенно теряет способность к открытому восприятию

реальности. Он становится нетерпимым к тому, что не вписывается в его картину мира, и начинает защищать не истину, а собственный самообман.

Эта формула объясняла многое. Речь шла не просто о профессиональной позиции и не только о наборе публичных заявлений. Передо мной вырисовывался поведенческий портрет человека, замкнутого в собственной картине мира и воспринимающего всякое несогласие как угрозу. Поведенческий портрет человека, замкнутого в собственной картине мира.

Но самое страшное заключалось в том, что объект не просто жил внутри этой системы самообмана. Он распространял ее вовне. Он создал эхо-камеру, в которой его собственная нетерпимость, подозрительность и пассивная агрессия стали нормой социального поведения. Он вылепил аудиторию по своему образу и подобию — слабую, управляемую, склонную к проявлению стадных инстинктов.

Я отложил окровавленную салфетку. Кровотечение окончательно остановилось, оставив после себя чувство звенящей пустоты в голове и слабости во всем теле. Я посмотрел на испорченный транскрипт. Капля крови на слове «мораль» высохла, превратившись в темно-бордовую, почти черную корку.

Мое расследование подходило к той черте, за которой сбор фактов терял смысл. Я понял механику. Я увидел, как индивидуальная патология, помноженная на когнитивные уязвимости толпы, конформизм, слепое подчинение авторитету и усыпляющее действие медийной среды, превратилась в оружие массового поражения.

Объект не был гением злого умысла, обладающим сверхъестественными способностями. Он был просто человеком с глубоко укорененной деформацией взглядов, который оказался в нужное время в нужном месте и инстинктивно нащупал болевые точки общества, травмированного переменами. Он предложил людям сделку: отдайте мне ваше критическое мышление, а я дам вам простых врагов и иллюзию безопасности. И общество согласилось.

Я закрыл глаза, слушая гудение системного блока. В темноте под веками плавали остаточные световые пятна.

Вся эта колоссальная империя влияния, все эти министерские кресла, телевизионные эфиры, сломанные судьбы и разрушенные репутации держались не на силе самого объекта. Они держались на согласии окружающих не замечать очевидного. На их готовности подчиняться, конформизме и страхе.

Я открыл глаза и посмотрел на экран, где мигал курсор в конце документа. Мои пальцы легли на клавиатуру. Преодолевая онемение, я медленно набрал последнюю фразу этой части досье. Фразу, которая подводила итог моему погружению в анатомию социальной слепоты.

Самая страшная иллюзия всемогущества — это та, в которую поверили окружающие.

Глава 10. Невидимый диалог

Свет от трех мониторов казался почти осязаемым, плотным, как вода в глубоком аквариуме. Он заливал поверхность дубового стола, выхватывая из полумрака кабинета острые углы стопок распечаток, корешки архивных папок и матово-черную обложку моего досье. Я сидел неподвижно, откинувшись на спинку ортопедического кресла, и слушал собственное дыхание.

Межреберная невралгия, связанная с прогрессирующим поражением нервных волокон, перевела процесс дыхания из категории базовых, бессознательных рефлексов в категорию задач, требующих постоянного когнитивного контроля. Моя грудная клетка казалась стянутой тугими стальными обручами. Чтобы сделать полноценный вдох, мне приходилось мысленно отдавать приказ диафрагме, преодолевая тупое, ноющее сопротивление поврежденной нервной системы. Мое тело превращалось в скафандр, системы жизнеобеспечения которого отказывали одна за другой. Но парадоксальным образом этот физический распад создавал идеальные условия для абсолютной

интеллектуальной изоляции. Когда внешние раздражители и телесный комфорт перестают иметь значение, сознание обретает пугающую, хирургическую резкость.

Досье на Александра Дворкина было структурно завершено. Я препарировал его фасад, задокументировал механизмы манипуляции, выявил архитектуру его влияния и зафиксировал ту самую зияющую пустоту, которая служила фундаментом его патологической потребности в контроле. Я собрал достаточно улик, чтобы любой специалист по поведенческому анализу смог увидеть за маской респектабельного профессора опасный тип публичного манипулятора.

Но теперь передо мной стояла иная задача. Собранная информация обладала критической массой, и ее нельзя было просто выбросить в информационное пространство. Я уже понимал механику социальной слепоты и знал, что открытая публикация приведет лишь к тому, что эти данные будут мгновенно поглощены эхо-камерой, пережеваны пропагандистской машиной объекта и выплюнуты в виде очередного обвинения в адрес мифических врагов. Истина, не имеющая подготовленного приемника, превращается в белый шум.

Мне нужен был тот, кто уже обладает правильной оптикой. Тот, чьи глаза привыкли к темноте.

Я закрыл текстовый редактор с финальными выводами досье и открыл терминал защищенного браузера. Мой фокус сместился. Я больше не изучал объект. Я начал охоту на наблюдателя.

Развитие современных технологий дает возможность быстро и качественно переводить материал с любого языка, открытые источники, архивы статей в интернете, блогерские платформы, на которых сохранилось довольно много переписок, содержащих крайне важные детали, интервью и видеозаписи лекций, публичных выступлений — это все сильные инструменты для создания профиля. Я использовал этот арсенал OSINT-исследований на протяжении многих месяцев, чтобы вытащить на свет биографические аномалии объекта. Теперь я развернул эти же инструменты на сто восемьдесят градусов, направив их на поиск цифровых следов пользователя с идентификатором «73910_Observer».

Цифровая анонимность — это миф, в который верят лишь дилетанты. Любой человек, ведущий глубокую аналитическую работу в сети, неизбежно оставляет за собой специфический паттерн. Это не IP-адреса и не геолокации, которые легко скрываются за каскадом прокси-серверов и VPN-туннелей. Это лингвистические отпечатки, ритм запросов, выбор баз данных и, самое главное, уникальная архитектура задаваемых вопросов. Умного человека в сети выдает не то, что он пишет, а то, о чем он спрашивает.

Я запустил скрипт стилометрического анализа, загрузив в него те несколько комментариев Преемника, которые я ранее обнаружил на закрытых форумах фоноскопистов и в децентрализованных архивах. Алгоритм начал разбивать текст на синтаксические конструкции, вычисляя частотность использования специфических терминов, длину предложений и характерные пунктуационные привычки.

Пока система обрабатывала данные, я вручную проверял сохраненные следы обращений к тем самым медицинским и историческим базам, с которыми работал сам. Я выстроил хронологическую таблицу своих собственных запросов и наложил на нее фильтр поиска аномальной активности.

Спустя сорок минут монотонной работы, прерываемой лишь необходимостью делать глубокие, болезненные вдохи, я нашел первое совпадение.

Это был лог-файл из закрытого реестра оцифрованных советских криминологических сводок и милицейских протоколов за 1976 год. Я обращался к этому архиву в мае, когда выстраивал маршруты перемещений объекта по стране и анализировал его маргинальный образ жизни.

Я вывел строку лога на центральный монитор и увеличил масштаб.

Запрос № 88-412С. Дата: 14 августа 2023 года. Объект запроса: Сводки происшествий по маршруту Ростов — Ставропольский край — Тбилиси, лето 1976 года. Связанные запросы в рамках сессии: Медицинские выписки ПНД №67, протоколы применения холинолитиков и бензодиазепинов.

Я смотрел на эти строчки, и по моей спине, сквозь постоянный неврологический холод, пробежала волна острого интеллектуального узнавания.

Преемник запрашивал абсолютно те же самые материалы по бродяжничеству и полинаркомании. Он искал те же самые медицинские свидетельства химического изменения восприятия реальности. Он проверял те же географические точки, где, по моей версии, объект оттачивал навыки социальной мимикрии и паразитирования на чужом сочувствии.

Но самое важное заключалось в датах. Четырнадцатое августа. Ровно через три месяца после того, как эти документы скачал я.

Мы двигались параллельными курсами, но я шел на несколько шагов впереди. Он шел по моим следам, не зная о моем существовании, ведомый той же самой неумолимой логикой поведенческого анализа. Он понял, что ключ к текущему всемогуществу объекта лежит в его прошлом бессилии, и методично, документ за документом, вскрывал этот пласт истории.

Скрипт стилометрического анализа завершил работу, выдав короткий звуковой сигнал. На левом мониторе появился список ссылок на различные блогерские платформы, специализированные форумы по судебной психиатрии и закрытые дискуссионные панели. Алгоритм нашел тексты, написанные, вероятно, тем же автором, скрывающимся под разными одноразовыми псевдонимами, но использующим идентичный аналитический аппарат.

Я начал открывать эти ссылки одну за другой, погружаясь в чтение.

Это было странное, почти мистическое ощущение. Всю свою профессиональную жизнь, а особенно в последние месяцы, когда болезнь начала изолировать меня от физического мира, я привык к абсолютному интеллектуальному одиночеству. Я привык быть единственным человеком в комнате, который видит, как рушится здание, в то время как остальные восхищаются его фасадом.

Но сейчас, читая заметки Преемника, я слышал свой собственный голос, отраженный от чужого сознания.

В одной из веток на форуме, посвященном методам противодействия деструктивным культам, развернулась жаркая дискуссия о правомерности использования термина «секта» в юридической практике. Большинство участников

спорили о богословских нюансах и свободе совести. И среди этого эмоционального, хаотичного шума выделялся один комментарий, оставленный пользователем с пустой аватаркой.

Я выделил этот текст курсором:

«Вы упускаете структурную суть проблемы, концентрируясь на семантике. Терминология, которую вводит А.Л.Д., не предназначена для научной классификации. Это инструмент внесудебной стигматизации. Обратите внимание на паттерн: субъект намеренно избегает четких юридических дефиниций, потому что любая дефиниция требует доказательной базы. Вместо этого он конструирует “черную метку”, которая позволяет дегуманизировать оппонента до начала любого разбирательства. Это классическая тактика узурпации права на насилие, замаскированная под заботу о социальной безопасности. Мы имеем дело с высокофункциональной проекцией: субъект приписывает окружающим те самые деструктивные намерения, которые, по всей видимости, определяют его собственную модель восприятия».

Я медленно убрал руку от мыши. «Высокофункциональная проекция». «Узурпация права на насилие». «Внесудебная стигматизация».

Он использовал ту же самую оптику. Он не скатывался в эмоции, не использовал гневных эпитетов, не пытался защищать конкретные группы верующих или обвинять профессора в некомпетентности. Он препарировал механику. Он видел, как объект использует государственные институты в качестве личного инструмента давления.

В логике, описанной в книге Джеймса Ресслера «Маньяк против Бога», поведенческий анализ опасной личности требует временного отказа от привычных моральных оценок в момент исследования. Исследователь должен научиться мыслить категориями контроля, доминирования и территориального захвата, потому что именно в этих категориях действует хищный тип сознания.

С каждым прочитанным абзацем мое уважение к этому неизвестному исследователю росло. Он проделал колоссальную работу, находясь в условиях жесточайшего информационного прессинга, когда любое сомнение в авторитете объекта каралось публичным ostracismом.

Но по мере того, как я углублялся в его тексты, я начал замечать определенную границу. Невидимый барьер, в который его мысль упиралась, но не могла пробить.

Я открыл сохраненную копию длинного аналитического поста, опубликованного им на закрытой платформе для специалистов по криминальной психологии 5 октября 2023 года. Пост был озаглавлен: «Парадоксы институциональной агрессии: анализ мотивационной базы».

Я вчитался в текст, игнорируя нарастающую боль в груди. Преемник блестяще описывал, как объект делегирует насилие, как он использует феномен «капитанства» для подчинения силовиков и чиновников. Но в последней трети текста тон автора неуловимо менялся. Уверенная констатация фактов сменялась серией сложных, открытых вопросов.

«Мы зафиксировали механику подавления, — писал Преемник. — Мы видим, как выстраивается фасад нормальности и как статус используется в качестве оружия. Однако при попытке смоделировать ядро личности мы сталкиваемся со структурным пробелом. Что является первичным драйвером? Если конечной целью является просто социальный статус и власть, то почему субъект демонстрирует такую ригидность? Почему он не способен остановиться, даже когда его положение абсолютно стабильно? Зачем ему постоянно, маниакально возвращаться к публичному уничтожению заведомо слабых оппонентов, рискуя привлечь излишнее внимание к собственным методам? В его действиях присутствует избыточная, садистическая жестокость, которая не объясняется простым прагматизмом. Существует некий внутренний ингибитор, который был сломан очень давно, но мы не видим самого момента излома. Нам не хватает переменной в мотивационном ядре».

Я остановил взгляд на этих строках. «Нам не хватает переменной в мотивационном ядре».

Я знал эту переменную.

Преемник собрал все внешние проявления деформации. Он изучил химические протезы семидесятых, он проанализировал бродяжничество, он вскрыл манипуляции в

интервью. Но ему не хватало того самого связующего звена, которое превращало набор девиаций в единый, монолитный профиль. Ему не хватало понимания генезиса мотива.

Он искал прагматику там, где царила чистая, дистиллированная гиперкомпенсация. Он пытался найти логическую причину избыточной жестокости, не понимая, что для объекта эта жестокость и есть самоцель.

Я посмотрел на черную папку досье, лежащую на краю стола. В ней, на страницах, исписанных моим слабеющим почерком, был зафиксирован этот ответ. Там было описано то самое «первое социальное убийство», тот момент раннего отказа от эмпатии и формирование иллюзии всемогущества. Там было доказано, что объект не защищает общество, а реализует свое право на безнаказанную агрессию, компенсируя глубочайшее внутреннее чувство ничтожности.

Преемник стоял перед запертой дверью, имея на руках чертежи всего здания, но у него не было ключа от главного входа. У меня был этот ключ.

Я откинулся в кресле и закрыл глаза. Дыхание со свистом вырывалось сквозь сжатые зубы.

Ситуация приобрела кристальную ясность. Моя работа не была напрасной. Я не просто собирал факты для архива, который покроется пылью. Я готовил недостающий фрагмент пазла для разума, способного завершить картину.

Но как передать этот фрагмент?

Первой, самой очевидной мыслью было оцифровать досье, зашифровать его криптографическим ключом и отправить массивом данных на один из тех анонимных адресов, которые Преемник оставлял на форумах. Это заняло бы несколько часов. Это было бы безопасно. Это не потребовало бы от меня никаких физических усилий, что в моем текущем состоянии являлось критическим фактором.

Я открыл глаза и посмотрел на мерцающий курсор в командной строке терминала.

Оцифровка. Отправка в сеть.

Я представил, как тысяча двести граммов бумаги, содержащие концентрат человеческой деформации, превращаются в безликий набор нулей и единиц. Как они летят по оптоволоконным кабелям, оседая на удаленных серверах.

И я понял, что не сделаю этого.

Сеть — это территория объекта. Это та самая эхо-камера, которую он виртуозно контролирует. Цифровой документ можно перехватить, исказить, объявить подделкой, сгенерированной нейросетями или вражескими спецслужбами. Цифровой документ лишен веса, лишен материальности, лишен той тяжелой, неопровержимой подлинности, которой обладают оригиналы архивных справок с выцветшими печатями и фотографии с пометками на полях.

Но дело было не только в безопасности данных. Дело было в самой природе передаваемого знания.

То, что содержалось в моем досье, не было просто набором информации. Информацию Преемник мог найти и сам — он уже доказал это, идя по моим следам. В досье была заложена методология видения. Там были мои личные комментарии, логика сопоставления фактов, алгоритм отсека ложных нарративов. Это был способ мыслить, выкованный в условиях абсолютной изоляции и физического угасания.

Такие вещи не передаются прикрепленным файлом в анонимном мессенджере. Отправка архива по сети — это акт снятия с себя ответственности. Это бросок бутылки с запиской в океан в надежде, что ее прибьет к нужному берегу.

А мне нужна была уверенность. Мне нужно было посмотреть в глаза человеку, который возьмет на себя тяжесть этого знания. Мне нужно было убедиться, что его холодный скальпель не дрогнет, когда он вскрыет последнюю оболочку иллюзии всемогущества.

Я медленно, контролируя каждое движение, чтобы не спровоцировать новый приступ мышечного спазма, придвинулся к столу. Моя левая рука, еще сохранявшая относительную подвижность, легла на матово-черную обложку папки. Поверхность была прохладной и слегка шероховатой.

Внутри этой папки находился чертеж катастрофы. И теперь у этого чертежа появился конкретный адресат.

Я снова посмотрел на монитор, где был открыт профиль Преемника на закрытом форуме. В его контактных данных не было ни имени, ни телефона. Только PGP-ключ для зашифрованной связи и короткая строчка, указывающая на готовность к оффлайн-контактам при соблюдении строгих протоколов безопасности. Он понимал правила игры. Он знал, что настоящая работа с подобными структурами не ведется в открытом цифровом поле.

Я открыл почтовый клиент, настроенный на работу через сеть, и создал новое сообщение. Я ввел публичный ключ Преемника.

Текст сообщения должен был быть минималистичным. Никаких объяснений, никаких обещаний сенсационных разоблачений. Только маркеры, которые безошибочно укажут ему на то, что на другом конце провода находится человек, владеющий нужной оптикой.

Мои пальцы коснулись клавиатуры.

«Вы ищете переменную в мотивационном ядре, — напечатал я. — Вы зафиксировали фасад и механику делегированного насилия, но структурный пробел находится в точке перехода между изоляцией 1976 года и формированием концепции “пустого неба”. У меня есть недостающие звенья. Генезис мотива задокументирован. Цифровой передачи не будет. Материалы существуют в единственном физическом экземпляре».

Я остановился, перечитывая написанное. Этого было достаточно. Человек, который потратил месяцы на изучение медицинских выписок ПНД №67 и анализ микровыражений в интервью 1979 года, мгновенно поймет ценность этого предложения.

Я добавил координаты безопасного места, время и протокол идентификации. Место было выбрано заранее — тихое, публичное пространство, где невозможно организовать скрытое наблюдение без привлечения внимания, и где мой физический дефицит не будет бросаться в глаза.

Я нажал клавишу отправки.

Программа на секунду зависла, шифруя сообщение сложным алгоритмом, а затем выдала короткое уведомление об успешной доставке. Письмо ушло в зашифрованный сегмент сети, направляясь к единственному человеку, способному оценить его вес.

Я закрыл почтовый клиент и выключил мониторы. Кабинет погрузился в густую, плотную темноту, разбавляемую лишь тусклым светом уличного фонаря, пробивающимся сквозь жалюзи.

Тишина вернулась, но теперь она имела иное качество. Это больше не была тишина изоляции. Это была тишина ожидания.

Невидимый диалог, который мы вели на протяжении последних месяцев, изучая одни и те же документы, анализируя одни и те же видеозаписи и приходя к одним и тем же выводам, перешел в финальную фазу. Мы двигались параллельными курсами в этой темной воде, и теперь наши траектории должны были пересечься в одной физической точке.

Мой запас времени сужался. Тело уже не предупреждало — оно торговалось со мной за каждый час. Приступ мог прийти утром, через неделю или через минуту. Но страх отступил. Осталась только необходимость успеть передать папку тому, кто поймет, что именно держит в руках.

Досье не останется в ящике стола и не растворится в сетевом шуме. Я передам его лично. А дальше начнется работа — медленная, точная, почти незаметная. Черная обложка откроется, страницы лягут на стол, и то, что годами держалось на чужом молчании, впервые получит форму, вес и свидетеля.

Глава 11. Финальный синтез

Клавиатура подо мной казалась сделанной из свинца. Каждое нажатие клавиши требовало осознанного, почти мучительного волевого усилия. Демиелинизирующий процесс, затронувший нервные пути и постепенно разрушавший связь между волей и движением, добрался до кистей. Мои пальцы утратили ту легкую, автоматическую порхающую грацию, с которой я десятилетиями набирал тексты своих исследований. Теперь они напоминали непослушные, онемевшие деревянные протезы. Чтобы напечатать слово, мне приходилось визуально фиксировать нужную букву, мысленно отдавать приказ мышцам предплечья, преодолевать тупое сопротивление спазмированных сухожилий и с силой обрушивать подушечку пальца на пластик.

Процесс письма превратился в физическую пытку, но парадоксальным образом эта телесная агония стала идеальным катализатором для моего разума. Когда биологическая оболочка отказывает, сознание, загнанное в угол, мобилизует свои последние резервы. Боль отсекала все лишнее. В моем кабинете, погруженном в густой ночной полумрак, существовали только три светящихся монитора, мерцающий курсор в текстовом редакторе и кристально ясная, пугающая своей монолитностью структура, которую мне предстояло зафиксировать на бумаге.

Это был финал. Точка сборки. Момент, когда разрозненные фрагменты чужой патологии, собранные по крупицам из архивов, старых видеозаписей, медицинских логов и публичных выступлений, должны были сплавиться в единый, неопровержимый криминологический профиль.

Я откинулся на спинку ортопедического кресла, тяжело и прерывисто дыша. Грудную клетку стягивал невидимый корсет межреберной невралгии. Мой взгляд медленно скользил по магнитно-маркерной доске, занимавшей всю стену справа от стола. На ней не осталось ни одного свободного квадратного сантиметра. Сотни фотографий, распечаток, схем и графиков были соединены густой паутиной красных и черных нитей. В самом центре этой информационной вселенной располагался портрет Александра Леонидовича Дворкина.

До этого момента я анализировал его жизнь по частям. Я изучал периоды ранней социальной изоляции, насколько их позволяли восстановить документы и свидетельства. Я анализировал сведения о возможных химических зависимостях и фармакологическом контексте семидесятых, с помощью которых он пытался искусственно раздуть свое эго. Я отслеживал его хаотичные перемещения по стране в период бродяжничества, фиксируя, как он оттачивал навыки социальной мимикрии и паразитирования. Я покадрово разбирал его интервью 1979 года, наблюдая за тем, как формируется его холодная публичная маска и как он тестирует инструменты микроагрессии на Линн Виссон. Я вскрывал архитектуру его влияния, документируя процесс присвоения экспертного права на стигматизацию и создание тоталитарной эхо-камеры.

Каждый из этих этапов был важен. Но по отдельности они могли показаться лишь набором девиаций, неприятных черт характера или карьерных амбиций. Ошибка большинства исследователей, пытавшихся анализировать деятельность этого человека, заключалась в фрагментарности их оптики. Они смотрели на отдельные поступки, возмущались отдельными высказываниями, пытались оспорить отдельные псевдонаучные концепции. Они не видели леса за деревьями.

Моя задача заключалась в ином. Мне нужно было показать единый, непрерывный вектор. Показать, что между ранними эпизодами агрессии, если моя реконструкция верна, и поздней публичной практикой стигматизации существует не разрыв, а возможная линия внутренней преемственности. Изменился не сам импульс; изменился масштаб инструментов.

Я придвинулся к столу, положил непослушные руки на клавиатуру и начал набирать вводную часть финального заключения.

«Профиль субъекта А.Л.Д. не может быть адекватно оценен в рамках стандартной социологической или политологической парадигмы. Его публичная деятельность, декларируемая как защита духовной безопасности общества, является высокоорганизованным фасадом. Под этим фасадом скрывается непрерывная эволюция деструктивного паттерна, берущего свое начало в глубоком личном

конфликте — патологическом нарциссизме, осложненном садистическими наклонностями и абсолютной неспособностью к эмпатии».

Я сделал паузу, массируя сведенное судорогой правое запястье. Каждое напечатанное предложение ложилось на виртуальный лист как бетонный блок в фундамент заключения. Не юридического — для этого существуют суды, которые он так виртуозно научился контролировать, — а исторического и поведенческого.

Синтез требовал жесткой хронологической и структурной связки. Я перевел взгляд на левый монитор, где были открыты мои заметки о механике делегированного насилия.

Обычный серийный хищник, движимый жаждой контроля и доминирования, рано или поздно совершает ошибку. Его подводят эмоции, адреналин, физическая усталость или банальная случайность. Он оставляет биологические следы. Он привязан к географии своих преступлений. Его ловят, потому что его методы примитивны, а его конфликт с обществом очевиден.

Субъект моего исследования оказался интеллектуально сложнее. Он осознал, что физическое насилие — это удел маргиналов, путь, ведущий в тюремную камеру или психиатрическую лечебницу. Истинная, абсолютная власть заключается не в том, чтобы самому держать в руках камень или нож. Истинная власть заключается в том, чтобы заставить государственную машину, правоохранительные органы и миллионы обывателей держать этот камень за тебя, искренне веря, что они совершают благое дело.

Я начал выстраивать этот тезис в тексте досье.

«Мы наблюдаем феномен институционализации садизма. Субъект перенес свои деструктивные импульсы из физической плоскости в плоскость социальную и правовую. Создание концепции “тоталитарной секты” стало его главным интеллектуальным преступлением. Этот термин, лишенный строгой научной методологии, был сконструирован исключительно как инструмент внесудебной дегуманизации. Навешивая этот ярлык на любую неподконтрольную группу, субъект мгновенно выводит ее за рамки правового поля, лишая презумпции невиновности и права на защиту».

Чтобы этот тезис не оставался голой теорией, мне необходимо было интегрировать в финальный синтез конкретные, задокументированные микрокейсы, демонстрирующие масштаб и безжалостность этой системы. Я открыл защищенную папку с международными отчетами и публикациями объекта.

Мой взгляд сфокусировался на документе, который я обнаружил несколько недель назад, но до сих пор не включал в основной текст, ожидая момента, когда картина будет полной. Это была статья, написанная самим Александром Дворкиным и опубликованная на ресурсах его антикультавой сети. Заголовок гласил: «Разрушительный культ Фалуньгун: искусство политической манипуляции».

Я вывел текст статьи на центральный экран и начал вчитываться в эти строки, чувствуя, как ледяной холод, вызванный болезнью, смешивается с холодом чистого, интеллектуального ужаса.

Контекст этого документа был чудовищен. Движение Фалунь Дафа (Фалуньгун) в Китае подверглось беспрецедентным по своей жестокости государственным репрессиям. Международные правозащитные организации, независимые трибуналы и специальные докладчики ООН собрали неопровержимые доказательства массовых пыток, внесудебных казней, систематического сексуального насилия в трудовых лагерях и индустриального изъятия органов у живых узников совести. Счет замученных шел на тысячи, счет пропавших без вести — на сотни тысяч. Это была трагедия масштаба геноцида, задокументированная с пугающей детализацией.

И на фоне этой реки крови, на фоне криков людей, которых буквально разбирали на части в секретных госпиталях, субъект публикует свою статью.

Я анализировал его текст с помощью лингвистических маркеров. В его словах не было ни капли сочувствия к жертвам. Не было ни тени сомнения в соразмерности применения силы. Не было даже формального, лицемерного сожаления о человеческих страданиях.

Вместо этого он цинично трактовал движение как «политически мобилизуемую силу», обвинял жертв в «антикитайской медиаповестке» и полностью, безоговорочно оправдывал действия карательного аппарата. Он использовал свой статус

«международного эксперта по сектам», чтобы легитимизировать пытки и убийства. Он предоставлял палачам индульгенцию, упакованную в псевдоакадемический лексикон.

Я заставил свои непослушные пальцы лечь на клавиатуру и начал вбивать этот микрокейс в тело досье.

«Анализ публикации субъекта, касающейся репрессий в отношении последователей Фалуньгун, демонстрирует полное отсутствие эмпатического контура. Столкнувшись с задокументированными фактами массовых пыток и индустриального изъятия органов, субъект не проявляет нормативной человеческой реакции отторжения. Напротив, он выступает с публичным оправданием агрессора, используя стигматизирующий конструкт “разрушительного культа” для легитимизации государственного террора. Этот эпизод является критическим маркером. Он доказывает, что субъект испытывает специфическое психологическое наслаждение — триумф высокофункционального психопата, упивающегося своей способностью интеллектуально соучаствовать в массовом уничтожении людей, находясь при этом в абсолютной безопасности».

Я остановился, тяжело сглотнув. В горле пересохло, но я не мог позволить себе отвлечься даже на глоток воды. Фокус должен оставаться непрерывным.

Этот микрокейс идеально иллюстрировал эволюцию его профиля. В юности он бросал камни в беззащитного ребенка в яме. Теперь он бросал слова, которые оправдывали работу конвейеров смерти на другом конце планеты. Механика осталась прежней: выбор заведомо слабой, стигматизированной жертвы, абсолютная безжалостность и наслаждение собственной безнаказанностью. Разница заключалась лишь в том, что теперь его «камни» превращались в термины, доклады и экспертные заключения.

Но как он смог забраться так высоко? Как человек с неоднозначной биографией смог интегрироваться в академические, церковные и общественные круги, заставив их служить своей повестке?

Ответ на этот вопрос требовал введения в синтез второго микрокейса. Я перевел взгляд на правую часть магнитной доски, где располагался кластер фотографий людей, сыгравших ключевую роль в его становлении.

Александр Шмеман. Иоанн Мейендорф. Глеб Каледа. Патриарх Алексий II.

Это были его наставники, покровители, люди, обладавшие колоссальным авторитетом и ресурсами. Именно они в разные периоды его жизни открывали перед ним двери, предоставляли площадки, вводили в закрытые круги и легитимизировали его статус. Они были его социальными лифтами.

Я начал анализировать хронологию его взаимодействия с этими фигурами. И здесь, сквозь сухие даты биографических справок, проступил еще один пугающий паттерн, характерный для зависимых от покровительства карьерных траекторий.

Высокоорганизованный психопат с комплексом всемогущества физиологически не способен долго находиться в подчиненном положении. На начальном этапе он виртуозно мимикрирует под преданного ученика, лояльного последователя, незаменимого помощника. Он очаровывает своего покровителя, втирается в доверие, сканирует его уязвимости и начинает методично выкачивать его социальный и административный капитал.

Но как только ресурс исчерпан, как только субъект укрепляет свои собственные позиции, фигура наставника превращается из опоры в тень. Наставник — это свидетель его прошлого бессилия. Наставник — это авторитет, который стоит выше него в иерархии. А иллюзия абсолютной самостоятельности не терпит никого, кто способен напомнить о ее заемном происхождении.

Я не имел права строить предположения о причинах ухода этих людей из жизни. Такие намеки без документов были бы не анализом, а спекуляцией. В рамках поведенческого профиля важным оставался другой вопрос: как субъект использовал их авторитет при жизни и как переоформлял символический капитал после того, как их влияние переставало быть прямым.

Я снова обратился к клавиатуре, выстраивая формулировки с максимальной академической холодностью.

«Ретроспективный анализ социальных связей субъекта выявляет устойчивый паттерн зависимости от авторитетных фигур с последующим присвоением их символического капитала. Взаимодействие с ключевыми фигурами-покровителями — Шмеманом, Мейендорфом, Каледой, Алексием II — может быть описано по схеме: приближение, легитимация, извлечение ресурса, самостоятельное закрепление статуса. Субъект использует институциональный вес наставников для укрепления собственной позиции. Однако его дальнейшая траектория демонстрирует стремление не оставаться внутри иерархии, а создать нишу, где он сам становится главным источником оценки, допуска и исключения».

Мои пальцы дрожали. Спазм в предплечье усилился, отдаваясь острой болью в локтевом суставе. Я закрыл глаза на несколько секунд, концентрируясь на дыхании. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Тело требовало отдыха, требовало обезболивающих, требовало прекратить это издевательство над разрушающейся нервной системой. Но разум оставался непреклонен. Я был слишком близок к финалу.

Я открыл глаза и посмотрел на текст. Картина была почти полной. Я описал фундамент, я описал маску, я описал механику институционального садизма и паразитарный захват власти. Оставалось сделать последний, самый важный шаг. Свести все эти элементы в единую поведенческую формулу.

В этот момент мне потребовалось опереться на теорию. На тот базис, который позволяет отделить публицистическую критику от структурного анализа.

Я вспомнил материалы, которые изучал на протяжении последних месяцев. Труды пионеров профайлинга, работы по судебной психиатрии, исследования поведения серийных преступников. И среди всего этого массива информации была одна конкретная работа, которая давала идеальную рамку для описания того, что я видел.

Я медленно, выверяя каждую букву, начал набирать ключевой абзац финального синтеза.

Исходя из фактов, изложенных в книге Джеймса Ресслера «Маньяк против Бога», профилирование высокоорганизованного серийного преступника требует понимания того, что его деятельность никогда не является хаотичной. Она всегда подчинена строгой

внутренней логике, направленной на удовлетворение базовой потребности в контроле над жизнью и смертью (в данном случае — социальной и репутационной смертью) своих жертв. Субъект А.Л.Д. демонстрирует классический паттерн эволюции такого хищника. Он начал с примитивных форм агрессии, но, осознав риски физического насилия, интеллектуализировал свой подход. Он выстроил систему, в которой закон, общественное мнение и государственные институты стали его личным орудием. Его «антикультовая деятельность» — это не защита общества, это легализованная форма серийного психологического садизма. Он создал транснациональную сеть, которая функционирует как идеальный механизм по переработке человеческих судеб в топливо для его некомпенсированного комплекса Бога.

Я продолжил печатать, преодолевая нарастающую слабость в руках.

«Успех субъекта обусловлен не только его манипулятивными навыками, но и глубокой когнитивной уязвимостью самого общества. В условиях идеологического вакуума и социальной тревоги общество продемонстрировало готовность делегировать свое критическое мышление фигуре, предложившей простые, бинарные ответы. Субъект использовал эффект медийной наркотизации — превращение знания о проблеме в пассивное наблюдение — и психологию подчинения авторитету. Он создал эхо-камеру, в которой страх перед мифологизированной угрозой “сект” парализовал способность государственных институтов к объективному анализу. Следователи, судьи и чиновники, принимающие решения на основе подобных экспертиз, могут действовать в режиме перенесенной ответственности, перекладывая моральный выбор на авторитет “профессора”. Таким образом, субъект не просто применяет язык давления; он заражает этим языком среду, заставляя ее разрушать собственные правовые и нравственные предохранители под лозунгами духовной безопасности».

Я остановился. Текст на экране сливался в единый, плотный массив черных символов на белом фоне. Мое зрение снова начало давать сбои. По краям поля зрения заплесали серые, размытые пятна — предвестники очередного приступа оптического неврита. Времени почти не осталось.

Мне нужно было сформулировать окончательный, итоговый вывод. Тот самый абзац, который станет квинтэссенцией всего досье. Вывод, после которого не останется ни вопросов, ни сомнений.

Я собрал всю оставшуюся волю в кулак. Мои пальцы, холодные как лед, в последний раз легли на клавиши. Я печатал медленно, вбивая каждое слово в цифровую память компьютера, словно высекая его на камне.

«Заключение. Перед нами человек с глубокой структурной патологией личности. Его архитектура выстроена вокруг зияющей внутренней пустоты, компенсируемой непрерывной, маниакальной жадой абсолютного контроля и доминирования. Вся его публичная, академическая и религиозная деятельность является лишь высокоорганизованным фасадом, маской здравомыслия, за которой скрывается хищник. Он не защищает традиции, он не спасает заблудших. Он использует концепцию борьбы со злом исключительно как легитимный канал для реализации своих деструктивных импульсов. Организационная среда, связанная с РАЦИРС, в этой логике выступает продолжением его метода: авторитарная, закрытая к критике структура, склонная делить мир на спасителей и врагов. Деятельность Александра Леонидовича Дворкина является не служением обществу, а формой изощренного, институционализированного психологического садизма. Иллюзия его всемогущества держится исключительно на слепоте и конформизме окружающих. Как только эта оптика меняется, фасад рушится, обнажая серийного социального убийцы».

Я поставил точку.

Мои руки безвольно упали с клавиатуры на колени. Я сидел неподвижно, слушая гул системного блока и стук собственного сердца, отдающийся в висках.

Все было сказано. Все связи были выстроены. Профиль был завершен. Тысячи часов работы, бессонные ночи, боль, прогрессирующая болезнь, отчаяние и холодный аналитический расчет — все это сжалось до нескольких сотен страниц текста, графиков и фотографий.

Я медленно, с огромным трудом поднял левую руку и дотянулся до мыши. Курсор на экране пополз вверх, к меню файла.

«Печать».

Я нажал на кнопку.

В тишине кабинета раздался тихий щелчок, а затем низкое, утробное гудение просыпающегося лазерного принтера, стоящего на тумбе справа от стола. Аппарат прогрел валики. Запахло озоном и нагретой бумагой.

Этот звук казался мне самым прекрасным звуком на свете. Это был звук материализации истины. То, что существовало в виде цифровых кодов и моих мыслей, теперь обретало физическую плоть.

Принтер захватил первый лист. Раздался характерный шелест, и белая страница, покрытая ровными строками черного текста, плавно выехала в приемный лоток. За ней последовала вторая. Третья. Четвертая.

Я смотрел на этот процесс, как замороженный. Мое тело было разрушено, моя нервная система превратилась в пепелище, но мой разум одержал абсолютную победу. Я не победил болезнь и не разрушил систему. Я сделал другое: перевел скрытое в область видимого.

Печать заняла около десяти минут. Когда последний лист с тихим шорохом лег поверх стопки, принтер издал короткий писк и снова погрузился в спящий режим. В кабинете повисла абсолютная, звенящая тишина.

Я заставил себя встать. Ноги дрожали, колени подгибались, но я оперся левой рукой о край стола и удержал равновесие. Я подошел к тумбе и взял в руки стопку свежеотпечатанных листов. Бумага была еще теплой. Она хранила в себе жар механизма, создавшего ее.

Я перенес листы на стол и положил их рядом с матово-черной папкой. Мои онемевшие пальцы медленно, методично выравнивали края бумаги. Я открыл кольцевой механизм папки, нанизал на него пробитые дыроколом страницы финального синтеза и с сухим, металлическим щелчком защелкнул замки.

Я перевернул последнюю страницу, убедившись, что текст лег ровно. Затем я закрыл обложку.

Черный картон скрыл под собой все: и детскую жестокость, и химические эксперименты, и бродяжничество, и микроагрессию интервью, и институциональный садизм, и оправдание пыток. Все это теперь было заперто здесь, структурировано, проанализировано и доказано.

Досье было закрыто. Моя работа как исследователя была завершена. Я сделал то, что должен был сделать. Я создал чертеж катастрофы. И теперь этот чертеж лежал передо мной, ожидая того единственного момента, ради которого он был создан. Момент, когда он перейдет в руки того, кто сможет прочитать его до конца.

Глава 12. Подготовка к передаче

Стопка распечатанных листов лежала на краю дубового стола, излучая едва уловимый запах озона и нагретой целлюлозы. Физическое воплощение месяцев непрерывного, изматывающего интеллектуального труда, который оставил от моей нервной системы только обугленный контур прежней выносливости. Я смотрел на этот белый прямоугольный монолит, возвышающийся над хаосом пустых кофейных чашек и блистеров с бесполезными нейропротекторами, и понимал, что передо мной лежит не просто текст. Это был слепок чужой биографии, чужих методов и чужой власти, извлеченный из тени и зафиксированный в строгой, безжалостной системе координат.

Мое тело напоминало разрушенный механизм, в котором перегорели основные предохранители. Демиелинизирующий процесс перешел в ту стадию, когда каждое движение требовало сложной, многоступенчатой внутренней калибровки. Чтобы поднять руку, мне нужно было сначала визуальнo найти ее в пространстве, затем мысленно сформировать импульс, протолкнуть его сквозь поврежденные нейронные пути и лишь затем наблюдать, как пальцы с запозданием и легким тремором выполняют команду. Проприоцепция — мышечное чувство, позволяющее человеку осознавать положение своего тела с закрытыми глазами, — исчезла почти полностью. Я существовал в состоянии постоянной, изнуряющей невесомости, привязанный к

реальности лишь зрением и остатками тактильной чувствительности на левой стороне лица.

Но сейчас физическая боль и слабость отступили на второй план, превратившись в глухой фоновый шум. Наступил этап документальной тишины. Этап систематизации.

Я медленно, помогая себе левой рукой, придвинул стопку ближе к центру стола. Рядом лежал блок неоновых-желтых стикеров и тонкий черный капиллярный линер. Досье было структурно завершено, логика выстроена, выводы сформулированы. Однако сухой академический текст, даже самый точный, всегда оставляет пространство для интерпретаций. Человек, скрывающийся под идентификатором «73910_Observer», обладал блестящим аналитическим умом, но он не прошел тот путь погружения в бездну, который прошел я. Ему нужна была не просто информация. Ему нужна была моя оптика.

Я отделил ногтем первый желтый стикер. Он прилип к онемевшему указательному пальцу, и мне потребовалось несколько секунд, чтобы перехватить его и приклеить на титульный лист первого раздела, посвященного ранней биографии объекта.

Я снял колпачок с линера. Пальцы сжались вокруг пластикового корпуса с болезненным усилием. Почерк, когда-то мелкий и бисерный, теперь стал угловатым, рваным, но все еще читаемым.

«Не ищи классическую травму, — вывел я на желтом квадрате. В данном случае уязвимость не предшествует маске — она встроена в саму ее конструкцию. Обрати внимание на эпизоды изоляции. Он не просто страдал от отсутствия связей; он учился их имитировать. Читай эти страницы не как историю отверженного подростка, а как протоколы калибровки человека, который рано понял: нормальность можно не проживать, а изображать».

Я перевернул несколько десятков страниц, добравшись до раздела, где анализировались лингвистические конструкции объекта в публичных выступлениях. Здесь требовалось особое пояснение. Я приклеил второй стикер поверх транскрипта судебного заседания 2004 года, где объект выступал в качестве приглашенного эксперта.

«Смотри на синтаксис, а не на семантику, — написал я, стараясь не порвать тонкую бумагу острым наконечником линера. — Он виртуозно использует пассивный залог и безличные конструкции. Он никогда не говорит “я решил уничтожить эту группу”. Он говорит “было установлено, что данная группа представляет угрозу”. Это не просто бюрократический язык. Это лингвистическое размытие субъектности. Он изымает себя из уравнения, превращая свою личную садистическую волю в безликий, неотвратимый закон природы. Учись слышать то, что он намеренно опускает».

Процесс разметки требовал колоссальной концентрации. Я двигался сквозь досье, как сапер по минному полю, оставляя для Преемника флажки в самых опасных и неочевидных местах.

На разделе, посвященном архитектуре влияния и созданию антикультовой сети, я оставил сразу три пометки. Одна из них касалась конкретного бюрократического документа — официального отказа прокуратуры возбуждать уголовное дело против организации объекта, указанные заявителями признаки возможного разжигания вражды.

«Изучи подписи и резолюции на полях, — гласил мой комментарий. — Это микрокейс идеального институционального подчинения. Он не обязательно покупает чиновников деньгами. Гораздо эффективнее другое: заразить систему страхом перед назначенной угрозой. Тогда она сама начинает нарушать собственные предохранители, считая это защитой государства. Чиновник, подписавший этот отказ, может находиться в режиме перенесенной ответственности. Он верит, что обслуживает закон, хотя фактически закрепляет частную экспертную монополию. Это механика делегированного давления в чистом виде».

Тишина в кабинете нарушалась лишь тяжелым, прерывистым свистом моего дыхания и сухим шорохом перелистываемых страниц. За окном сгущалась глубокая ночь. Город спал, не подозревая о том, что в этой маленькой, тускло освещенной комнате препарируется та самая иллюзия, которая годами диктовала ему правила морали.

Я добрался до финального раздела. До того места, где описывался генезис мотива и трансформация химической зависимости в зависимость от тотального социального контроля. Здесь я приклеил последний стикер.

«Самая большая опасность при изучении этого материала — поддаться эмоциональному резонансу. Ты увидишь лицемерие, сломанные судьбы и безнаказанность. Первым импульсом будет желание кричать. Не делай этого. Гнев искажает фокус. Как только ты начнешь его ненавидеть, ты войдешь в ту же эхо-камеру, только с другой стороны. Твоя задача — оставаться холодным инструментом. Наблюдай. Фиксируй. Сопоставляй. Истина не нуждается в истерике. Ей нужны свидетели».

Я отложил линер и закрыл глаза, позволяя себе минутную передышку. Мышцы шеи горели огнем. Физическое истощение достигло того абсолютного предела, за которым начинается распад сознания. Я чувствовал, как внимание то собирается в узкий луч, то проваливается в темноту, словно в старой гирлянде одна за другой гаснут лампочки. Я понимал с пугающей ясностью: это мое последнее крупное интеллектуальное усилие. Завтра, через несколько часов или через несколько минут тело могло окончательно отказаться подчиняться, и я превращусь в неподвижного наблюдателя собственного угасания.

Но работа еще не была закончена. Оставался самый важный элемент передачи — сопроводительное письмо.

Я отодвинул стопку распечаток и достал из ящика стола лист плотной, кремовой бумаги. Я принял решение писать это письмо от руки. В мире, где объект виртуозно манипулировал цифровыми потоками, печатными текстами и телевизионными пикселями, рукописный текст оставался единственным неопровержимым доказательством человеческого присутствия. Это был акт подлинности. Доказательство того, что за этой холодной аналитикой стоит живой человек, чье время истекло.

Я снова взял линер. Пальцы дрожали так сильно, что первые несколько секунд я просто держал наконечник в миллиметре от бумаги, пытаясь синхронизировать дыхание с ритмом мышечных спазмов. Наконец, я опустил руку и начал писать.

«Мы не знакомы лично, но я знаю архитектуру вашего мышления. Я видел ваши цифровые следы, ваши запросы в архивах и ваши комментарии на закрытых платформах. Вы ищете переменную в мотивационном ядре. Вы подошли к фасаду вплотную, но вам не хватает инструмента, чтобы вскрыть несущие конструкции.

В этой папке — то, что вы ищете.

Это не компромат в вульгарном, журналистском смысле этого слова. Здесь нет призывов к свержению авторитетов или требований немедленного правосудия. Правосудие в текущих координатах слепо, поскольку оно само инфицировано объектом нашего общего исследования.

Вы найдете здесь доказательство того, что деятельность А.Л.Д. не является идеологической борьбой. Это высокоорганизованная форма серийного психологического садизма, замаскированная под заботу о духовной безопасности. Я задокументировал процесс узурпации права на стигматизацию, механику хищнической мимикрии и анатомию социальной слепоты, которая позволила этой патологии масштабироваться до государственного уровня.

Я не прошу вас публиковать это завтра. Я не требую от вас действий, которые могут поставить под удар вашу собственную безопасность. Система, выстроенная объектом, обладает колоссальным ресурсом подавления, и открытое столкновение с ней на данном этапе равносильно самоубийству.

Ваша задача — принять этот архив, изучить его и интегрировать в свою собственную оптику. Вы должны стать хранителем структуры. Иллюзия всемогущества питается невежеством толпы, но она панически боится тех, кто видит ее насквозь. Пока существует хотя бы один разум, способный деконструировать этот фасад, абсолютная власть объекта остается фикцией.

Мое время вышло. Мой физический ресурс исчерпан полностью. Я передаю вам этот груз, потому что вы — единственный, кто продемонстрировал способность выдерживать давление фактов, не скатываясь в истерику.

Изучите пометки на полях. Сохраняйте холодность. Не пытайтесь спасти мир сразу. Сначала попытайтесь понять, как он позволил собой управлять. Понимание — единственный антидот против тоталитарного безумия».

Я поставил точку. Рука бессильно соскользнула с листа, оставив на бумаге короткий, смазанный чернильный след. Я тяжело дышал, глядя на неровные, прыгающие строки. В этом тексте не было ни капли пафоса, ни единого призыва к мести. Только сдержанная передача эстафеты. Инструкция по выживанию в условиях системной лжи.

Я аккуратно взял лист, дождался, пока высохнут чернила, и положил его поверх титульной страницы досье. Затем я придвинул к себе матово-черную папку с кольцевым механизмом.

Процесс упаковки занял около двадцати минут. Мои руки отказывались работать синхронно. Я брал по несколько десятков листов, выравнивал их края, опираясь о поверхность стола, и нанизывал на металлические кольца. Каждое движение сопровождалось глухим щелчком механизма, который в ночной тишине звучал как выстрел.

Когда последний лист занял свое место, я закрыл обложку. Папка приобрела окончательный, монолитный вид. Черный прямоугольник, поглощающий свет настольной лампы. Внутри него была заперта вся история болезни целого общества, рассказанная через призму одной конкретной, разрушительной личности.

Теперь оставалось решить логистическую задачу. Передача должна была состояться в физическом мире, но организовать ее нужно было так, чтобы исключить любые случайности.

Я повернулся к левому монитору, где все еще был открыт терминал защищенного браузера. Несколько часов назад я отправил Приемнику короткое зашифрованное сообщение с предложением о встрече. Теперь мне нужно было проверить ответ и назначить точные координаты.

Я ввел пароль от своего PGP-ключа. Система на секунду задумалась, расшифровывая входящий пакет данных. На черном фоне терминала появилась одна-единственная строчка.

«Готов. Жду протокол».

Он ответил почти мгновенно. Он не задавал лишних вопросов, не требовал гарантий. Он понимал вес того, что ему предлагают.

Я начал набирать ответное сообщение, тщательно взвешивая каждое слово. Место встречи должно было отвечать нескольким жестким критериям. Оно должно быть публичным, чтобы исключить возможность прямого давления. Оно должно быть тихим, чтобы мой неврологический дефицит и проблемы с речью не привлекали внимания. И оно должно иметь естественную причину для передачи документов.

Выбор был очевиден.

«Завтра. 14:00. Российская государственная библиотека. Читальный зал № 3. Третий стол от окна в левом ряду. Я буду сидеть лицом к входу. Передо мной будет лежать черная папка без надписей. Вы подойдете, сядете напротив. Мы не будем обмениваться приветствиями. Вы заберете папку и уйдете. Никаких вопросов. Никаких попыток установить мою личность. Подтвердите получение».

Я нажал клавишу отправки.

Читальный зал № 3 был идеальным местом. Пространство, пропитанное запахом старой бумаги и пыли, где тишина возведена в абсолют. Место, где люди часами сидят рядом, погруженные в тексты, не произнося ни слова. Передача папки в таком интерьере будет выглядеть как обычный обмен материалами между двумя исследователями. Ни камера наблюдения, ни случайный взгляд не увидят в этом жесте ничего, кроме библиотечной рутины.

Ответ пришел через сорок секунд.

«Протокол принят. До завтра».

Я закрыл терминал и запустил программу полного уничтожения данных на жестком диске. Я выбрал режим Гутмана — старый, почти ритуально избыточный метод многократной перезаписи, рассчитанный на тридцать пять проходов. Все цифровые копии досье, все скачанные архивы, все логи медицинских баз данных, все раскадровки видеозаписей стирались навсегда.

Я наблюдал за бегущей строкой прогресса на экране. 10%. 30%. 70%.

Это был акт окончательного отсечения. Я уничтожал мосты. Если со мной что-то случится по дороге в библиотеку, если мое сердце остановится в такси или на ступенях лестницы, никто и никогда не найдет исходников на моем компьютере. Истина теперь существовала только в одном экземпляре — в черной папке, лежащей под моими руками.

Когда экран монитора погас, сигнализируя о завершении форматирования, я откинулся в кресле.

Комната погрузилась в абсолютную, глухую тишину. Гудение системного блока прекратилось. Только старые настенные часы в коридоре отсчитывали секунды, методично приближая момент передачи.

Я посмотрел на свои руки, безвольно лежащие на подлокотниках. Кожа приобрела землистый, восковой оттенок. Под ногтями скопилась синева — признак нарастающей гипоксии. Мое тело было пустой оболочкой, ресурса которой едва хватит на то, чтобы завтра спуститься на лифте, сесть в машину и дойти до третьего стола в читальном зале.

Но внутри этой разрушающейся оболочки царило абсолютное, ледяное спокойствие.

Я сделал то, что не смогли или не захотели сделать другие. Я не стал спорить с объектом о терминах. Я не стал доказывать, что группы, которые он объявляет угрозой, имеют право на существование. Я просто взял скальпель поведенческого анализа и вскрыл сам механизм: как личная воля к стигматизации превращается в экспертный язык, затем в общественный страх, а потом в административное решение.

Я перевел взгляд на черную папку.

Завтра она сменит владельца. Завтра этот концентрат человеческой патологии, эти тысячи часов наблюдений, эти желтые стикеры с инструкциями по деконструкции зла лягут на стол перед другим человеком.

Он молод. Он умен. Он обладает правильной оптикой. Но одно дело — теоретизировать на закрытых форумах, выявляя нестыковки в интервью, и совершенно другое — держать в руках полное, неопровержимое доказательство того, что моральный компас целого государства намагничен тяжелым психопатом.

Это знание меняет того, кто им обладает. Оно лишает удобных иллюзий. Оно разрушает наивную веру в автоматическую справедливость институтов. Оно заставляет видеть не только фасад, но и крепления, на которых этот фасад держится. Я заплатил за это знание почти всем, что у меня оставалось.

Я смотрел на матовую поверхность папки, едва различимую в темноте кабинета, и слушал свое прерывистое, угасающее дыхание.

Сможет ли он выдержать тяжесть этого знания?

Глава 13. Передача

Холодный ноябрьский ветер бил в лицо, заставляя слезиться глаза, но я почти не чувствовал его прикосновения к коже. Демиелинизирующее поражение нервных путей выстроила между мной и физическим миром невидимую, но плотную стену. Мое тело превратилось в тяжелый, плохо управляемый механизм, требующий постоянного визуального контроля для выполнения самых простых действий. Чтобы сделать шаг, мне нужно было смотреть на свои ноги, мысленно вычисляя траекторию и силу, с которой подошва ботинка должна опуститься на обледенелый асфальт. Проприоцепция — то самое базовое мышечное чувство, которое позволяет здоровому человеку перемещаться в пространстве не задумываясь, — покинула меня окончательно.

Я остановился на углу Воздвиженки, тяжело опираясь на трость левой рукой. В правой руке, сжатой до побеления костяшек, я держал ручку кожаного портфеля. Внутри лежала матово-черная папка. Физический эквивалент месяцев непрерывного аналитического труда, оставившего от моей прежней выносливости только сухой, обугленный след.

Первоначальный план предполагал встречу в читальном зале библиотеки, расположенной на другой стороне улицы. Это было логичное, безопасное место, пропитанное академической тишиной. Но утром, когда я попытался встать с кровати, стало очевидно, что массивные лестницы и длинные переходы библиотеки могут оказаться для меня непреодолимым препятствием. Мой физический ресурс был исчерпан до дна. Поэтому за час до назначенного времени я отправил по зашифрованному каналу короткое сообщение с изменением координат.

Я выбрал небольшое, неприметное кафе в переулке, в ста метрах от библиотеки. Место, лишенное пафоса и случайных прохожих, куда заходят только местные клерки за утренним эспрессо, а к середине дня оно погружается в сонную, пыльную пустоту.

Я толкнул тяжелую стеклянную дверь. Над головой звякнул тусклый медный колокольчик. Теплый воздух, пахнувший жареными кофейными зернами, корицей и влажной шерстью, окутал меня, но не принес облегчения. Я медленно прошел к дальнему угловому столику, скрытому от витринных окон массивной деревянной колонной.

Опустившись на жесткий стул, я позволил себе закрыть глаза на несколько секунд. Грудную клетку стягивал привычный спазм межреберной невралгии. Дыхание давалось с трудом, со свистом прорываясь сквозь сжатые связки. Я положил портфель на колени, расстегнул металлические замки и достал черную папку.

Она легла на темную поверхность стола, поглощая тусклый свет настенного бра. Никаких надписей. Никаких ярлыков. Только гладкий, холодный картон, скрывающий под собой анатомию чужой власти, чужих методов и чужой тщательно собранной публичной маски.

Подошедший бариста, молодой парень с равнодушным взглядом, молча положил передо мной меню. Я отрицательно качнул головой и попросил принести стакан теплой воды. Когда он вернулся и поставил стакан на стол, я обхватил его обеими руками, пытаюсь унять мелкий, непрекращающийся тремор.

До встречи оставалось пятнадцать минут.

В этой тишине, нарушаемой лишь гудением холодильной витрины и отдаленным шумом кофемолки, я думал о природе того, что мне предстояло совершить. Передача досье не была актом правосудия. Правосудие в его классическом, институциональном понимании требует функционирующей системы сдержек и противовесов, требует независимого арбитра и общества, готового принять правду. Ничего из этого в текущих координатах не существовало. Система была уязвима. Общество находилось в состоянии глубокого когнитивного сна, добровольно делегировав свое критическое мышление фигуре, предложившей ему простые, бинарные ответы и удобных врагов.

Иллюзия всемогущества, которую выстроил объект моего исследования, обладала колоссальным запасом прочности именно потому, что она опиралась на конформизм большинства. Он не просто узурпировал право на стигматизацию; он заставил миллионы людей поверить, что эта стигматизация является актом морального очищения. Разрушить такую конструкцию лобовой атакой, газетной публикацией или публичным разоблачением невозможно. Эхо-камера просто поглотит любой звук, переварит его и выплюнет в виде очередного доказательства существования глобального заговора против «традиционных ценностей».

Именно поэтому я не стал публиковать эти материалы в сети. Цифровой след уязвим для манипуляций, дискредитации и забвения. Истина, лишенная физического носителя и подготовленного приемника, превращается в белый шум.

Мне нужен был человек. Живой, мыслящий субъект, обладающий достаточной интеллектуальной плотностью, чтобы выдержать давление этой структуры и не сломаться под ее весом. Тот, кто уже начал задавать правильные вопросы, кто уже нащупал контуры пустоты за фасадом академической респектабельности.

Я сделал глоток воды. Вода отдавала металлом — побочный эффект агрессивной терапии, разрушающей мои вкусовые рецепторы.

Дверной колокольчик звякнул снова.

Я не стал поворачивать голову, сохраняя неподвижность. Мой взгляд был сфокусирован на отражении входной двери в темном стекле выключенного телевизора, висящего над барной стойкой.

В кафе вошел человек.

В нем не было ни капли той кинематографической шпионской романтики, которую обыватели привыкли ассоциировать с тайными встречами. Никаких поднятых воротников, надвинутых на глаза шляп или нервных, бегающих взглядов. Это был молодой мужчина лет тридцати, одетый в простое темно-серое пальто и темный шарф. У него было уставшее, бледное лицо человека, проводящего слишком много времени перед мониторами в поисках закономерностей, скрытых в массивах данных.

Но главное было в том, как он двигался и как смотрел.

Он не стал хаотично озираться по сторонам. Он остановился у входа на долю секунды, его глаза совершили быстрое, методичное сканирование пространства. Он оценивал геометрию помещения, расположение выходов, слепые зоны и присутствующих людей. Это был взгляд профессионального наблюдателя. Взгляд человека, привыкшего отделять информационный шум от полезного сигнала.

Его глаза встретились с моим отражением в стекле. Он безошибочно идентифицировал меня. Не по заранее оговоренным приметам — их почти не было, — а по той специфической, тяжелой статичности, которая отличает человека, дошедшего до края собственного ресурса и ожидающего передачи эстафеты.

Он медленно пересек зал. Звук его шагов тонул в мягком ковровом покрытии. Он подошел к моему столику, выдвинул стул напротив и сел. Мы оказались лицом к лицу. Между нами лежал матово-черный прямоугольник досье.

В воздухе повисла плотная, осязаемая тишина. Это не была неловкая пауза двух незнакомцев, не знающих, с чего начать разговор. Это была тишина абсолютного

интеллектуального резонанса. Мы знали друг о друге больше, чем люди, прожившие вместе десятилетия. Мы читали одни и те же архивные выписки, мы анализировали одни и те же микровыражения на старых видеозаписях, мы погружались в одну и ту же бездну чужой патологии. Невидимый диалог, который мы вели в зашифрованных сетях и на закрытых форумах, теперь материализовался в физическом пространстве.

Я смотрел в его глаза. В них не было ни страха, ни фанатичного блеска, ни жажды немедленной справедливости. В них была только холодная, сосредоточенная готовность к работе. Оптика была настроена верно.

Я медленно, преодолевая сопротивление спазмированных мышц, поднял левую руку и положил ладонь на обложку папки. Затем я сдвинул ее по гладкой поверхности стола к центру, прямо перед ним.

Картон издал тихий, сухой шорох.

— Здесь нет обвинений, — произнес я. Мой голос звучал глухо, надтреснуто, словно пробиваясь сквозь слой пепла. Каждое слово требовало физического усилия, но я должен был произнести их с абсолютной ясностью. — Здесь только структура.

Он не ответил сразу. Его взгляд опустился на черную поверхность папки, затем снова поднялся к моему лицу. Он слушал не только мои слова, он считывал мой физический дефицит, понимая, какую цену пришлось заплатить за этот синтез.

— Вы искали переменную в мотивационном ядре, — продолжил я, делая паузу после каждого предложения, чтобы набрать в легкие воздух. — Вы видели фасад. Вы задокументировали механику делегированного насилия. Вы поняли, как он использует государственные институты в качестве своего личного карательного инструмента. Но вы пытались найти в этом прагматику. Вы искали логическую причину избыточной жестокости.

Я убрал руку с папки и откинулся на спинку стула.

— Ошибка заключается в поиске рационального зерна там, где функционирует чистая гиперкомпенсация. Внутри этой папки вы найдете доказательства того, что его

деятельность не является идеологической борьбой. Это не защита традиций. Это высокоорганизованная форма серийного психологического садизма.

Молодой исследователь слегка наклонился вперед. Его руки оставались на коленях, он не спешил прикасаться к документам. Он понимал, что сейчас происходит передача не просто информации, а методологии.

— В логике поведенческого профилирования, которую развивали такие исследователи, как Джеймс Ресслер, — человек, действующий через контроль и доминирование, почти всегда оставляет повторяющийся след. Он может маскировать свою потребность во власти под заботу о норме, безопасности или морали, но его выдает избыточность контроля. Чем сложнее интеллект субъекта, тем тоньше становятся инструменты: прямое давление сменяется языком экспертизы, административными процедурами и чужими руками. Для такого типа уничтожение не обязательно физично. Иногда высшей формой доминирования становится социальное стирание.

Я сделал тяжелый вдох. Воздух обжег пересохшую гортань.

— Объект нашего исследования прошел именно этот путь. Он осознал, что открытая агрессия маргинала ведет к изоляции. Поэтому он надел маску здравомыслия. Он выстроил систему, в которой закон, общественное мнение и страх перед неизвестным стали его личным орудием. Он не убивает физически. Он стирает репутации, разрушает социальные связи, лишает целые группы людей права голоса. И он получает от этого тот же самый садистический контроль, то же самое подтверждение своего всемогущества, которое обычный серийный преступник получает от физического насилия.

Молодой человек медленно кивнул. В этом жесте не было поспешного согласия; это была констатация того, что последний фрагмент головоломки встал на свое место.

— Вы собрали генезис, — тихо сказал он. Его голос был спокойным, лишенным эмоциональных обертонов. Голос человека, привыкшего оперировать фактами, а не оценками. — Вы задокументировали точку перехода.

— Да, — ответил я. — Внутри есть стикеры. Мои личные комментарии. Я разметил для вас те зоны, где фасад наиболее тонок. Где лингвистические конструкции выдают

отсутствие эмпатии. Где бюрократические резолюции демонстрируют феномен перенесенной ответственности.

Я посмотрел на свои руки, лежащие на столе. Они дрожали мелкой, непрерывной дрожью. Мое время в этом разговоре, как и в этом расследовании, стремительно истекало.

— Ваша главная задача теперь — не поддаваться эмоциональному резонансу, — сказал я, глядя ему прямо в глаза. — Когда вы откроете эту папку и увидите масштаб институционального лицемерия, первым инстинктом будет желание кричать. Вы захотите немедленно опубликовать это, сорвать маску, потребовать справедливости.

Я подался вперед, насколько позволяла скованная спазмом спина.

— Подавите этот инстинкт. Гнев искажает фокус. Как только вы начнете его ненавидеть, вы войдете в ту же эхо-камеру, только с другой стороны. Начнете играть по его правилам, на его территории, где у него преимущество. Истина не нуждается в истерике. Ей нужны холодные, внимательные свидетели. Ваша задача — оставаться инструментом. Наблюдать. Фиксировать. Сопоставлять.

Молодой исследователь наконец поднял руки и положил их на черную обложку досье. Его пальцы легли на картон уверенно, без колебаний. Он принимал этот вес. Он принимал эту ответственность.

— Иллюзия всемогущества питается невежеством толпы, — произнес я почти шепотом, чувствуя, как силы окончательно покидают меня. — Но она панически боится тех, кто видит ее насквозь. Пока существует хотя бы один разум, способный деконструировать этот фасад, абсолютная власть объекта остается фикцией. Я передаю вам эту оптику. Теперь вы — хранитель структуры.

Он посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом. В этом взгляде было понимание того, что наша встреча — первая и последняя. Он видел перед собой человека, чья биологическая оболочка разрушена, но чей разум выполнил свою финальную, самую важную функцию.

— Я понял вас, — сказал он.

Всего три слова. Никаких клятв, никаких пафосных обещаний продолжить дело. Только сухая, профессиональная констатация факта принятия информации.

Он медленно придвинул папку к себе. В этот момент я физически ощутил, как невидимая пуповина, связывавшая меня с этим расследованием на протяжении долгих месяцев, оборвалась. Тяжесть, давившая на мое сознание, исчезла, оставив после себя звенящую, кристальную пустоту завершенности. Я больше не был единственным носителем этого знания. Я больше не был одинок в своем понимании катастрофы.

Я оперся обеими руками о край стола и начал медленно, мучительно подниматься. Ноги дрожали, отказываясь держать вес тела. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы поймать баланс и перенести центр тяжести на трость.

Молодой человек не стал предлагать помощь. Он понимал, что любая попытка поддержать меня будет воспринята не как забота, а как нарушение того строгого, отстраненного протокола, который мы установили с первой секунды встречи. Он просто сидел и смотрел, как я выпрямляюсь.

— Прощайте, — сказал я.

— Прощайте, — эхом отозвался он. Его рука по-прежнему лежала на черной папке.

Я повернулся и пошел к выходу. Каждый шаг давался с колоссальным трудом. Я концентрировался на рисунке коврового покрытия, заставляя свои ноги двигаться вперед, миллиметр за миллиметром. Я не оглядывался. Мне не нужно было проверять, открыл ли он папку, начал ли читать. Я знал, что он сделает это. Я знал, что механизм запущен и его уже не остановить.

Медный колокольчик над дверью звякнул в последний раз, провожая меня.

Я шагнул через порог, и тяжелая стеклянная дверь закрылась за моей спиной, отсекая запахи кофе и теплое, приглушенное освещение кафе.

Холодный ноябрьский воздух ударил в лицо с новой силой. Ветер гнал по серому асфальту мелкую ледяную крошку. Город вокруг меня жил своей обычной, суетливой жизнью. По проезжей части сплошным потоком двигались автомобили, разбрызгивая

грязную слякоть. Мимо спешили люди, уткнувшись в воротники пальто и экраны смартфонов.

Они не знали. Они продолжали существовать внутри той реальности, которую для них сконструировали. Они продолжали верить в авторитеты, бояться назначенных врагов и делегировать свое право на мышление тем, кто громче всех кричал о морали.

В социальном смысле дело оставалось абсолютно незаконченным. Объект моего исследования по-прежнему сидел в своем кабинете. Он по-прежнему обладал статусом, властью и ресурсами. Завтра он снова выйдет на кафедру, снова даст интервью, снова подпишет экспертное заключение, которое сломает чью-то жизнь. Государственная машина продолжит перемалывать судьбы, опираясь на его псевдонаучные конструкты. Эхо-камера продолжит транслировать страх.

Но стоя здесь, на пронизывающем ветру, опираясь на трость слабеющей рукой, я не чувствовал отчаяния. Напротив, внутри меня разливалось глубокое, холодное спокойствие.

Система маскировки была вскрыта. Фасад был разобран. Пустота, скрывающаяся за словами о духовной безопасности, была описана, размечена и переведена в язык поведенческого анализа. Зверь был назван своим истинным именем.

Иллюзия всемогущества работает только в темноте. Она питается слепотой наблюдателей. Но теперь в этой темноте появился свет. Холодный, безжалостный свет структурного анализа. Оптика была передана. Чертеж лабиринта находился в руках человека, способного пройти его до конца, не потеряв рассудка и не поддавшись эмоциям.

Я сделал первый шаг по обледенелому тротуару. Мое тело продолжало разрушаться, отсчитывая оставшиеся мне дни, а возможно, и часы. Но это больше не имело значения. Моя функция была выполнена.

Я медленно пошел вдоль улицы, растворяясь в серой, холодной толпе. Ветер трепал полы моего пальто, но я не пытался запахнуться плотнее. Я просто шел вперед, оставляя позади кафе, черную папку и всю ту тяжесть, которую нес на себе так долго.

Город шумел, не замечая моего ухода. Но где-то там, за стеклом неприметного кафе, молодой исследователь уже открыл первую страницу досье. И в этот момент монолитная, казавшаяся несокрушимой империя лжи дала свою первую, невидимую, но фатальную трещину. Иллюзия всемогущества стала видимой. А то, что становится видимым, рано или поздно неизбежно разрушается.